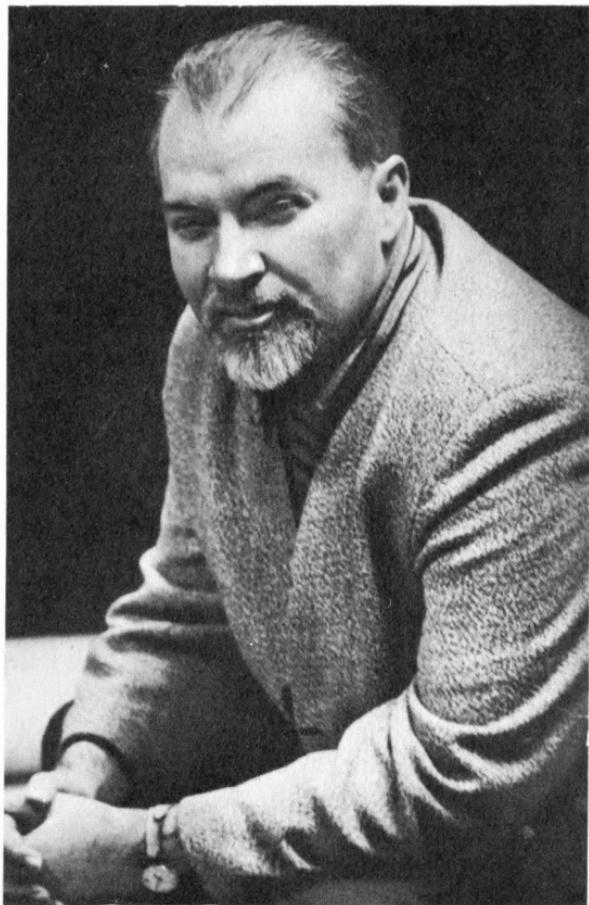


Библиотека советской фантастики

Аскольд ЯКУБОВСКИЙ

КУПОЛ ГАЛАКТИКИ





ОБ АВТОРЕ

Аскольд Павлович Якубовский родился в Новосибирске в 1927 году. Много лет работал топографом и одновременно увлекался охотой, изучением природы, художественной фотографией. Интересная профессия и увлечения автора нашли свое отражение в его книгах, хорошо знакомых теперь читателям, таких, как «Чудаки», «Красный таймень», «Не убий», «13-й хозяин», «Багряный лес».

В последнее время Якубовский успешно выступает в жанре фантастики. Хорошо принята читателями его последняя книга «Аргус-12». В своей фантастике автор не пытается предвосхитить изобретения и открытия будущего, а стремится поставить важные моральные, этические, нравственные проблемы, затрагивает актуальные вопросы, волнующие сегодня многих.



БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ



Библиотека советской фантастики

АСКОЛЬД ЯКУБОВСКИЙ

КУПОЛ
ГАЛАКТИКИ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1976

**Р2
Я49**

Художник Роберт Авотин

я $\frac{70302-255}{078(02)-76}$ 249-76

© Издательство «Молодая гвардия», 1973 г.



РАССКАЗЫ



В СКЛАДКЕ ВРЕМЕНИ

...Ракета возвращалась на Землю. Она была ро- черк молнии, моргнувшая в ночи зарница.

Борис оглянулся — ближе всего к нему был тот утренний старик. Он бежал, выбрасывая вперед длинные голые ноги. Борода его, разделившись, легла на плечи и моталась, как два флажка.

Другие старики что-то кричали Борису. Но услышать их он не мог — в висках его гремело. Оглянулся: из толпы вырвался еще один, лысый и бритый. Бойкий! На бегу он даже подскакивал в уровень своего роста. Догонят!

Борис припустил. Он пробежал луг, кинулся на холм. Эх, сбить бы со следа! Бежать в лес? Там можно и отлежаться в зарослях. А когда стемнеет, улизнуть на космодром.

— Догоним! — вопили старики.

— Черта лысого... — пробормотал Борис и скинул

пиджак. — Черта лысого! Догони-ка попробуй. — Развязал и бросил галстук.

И к нему пришло ощущение сна. Не явь это, нет.

Снятся ему старики, снятся!.. Сам он в ракете вместе с Александром и Бенгом.

— Гм, световая скорость... Тогда... Тогда, мальчишки...

Александр замолчал соображая. На лбу взбухли складки. Он бессознательно разравнивал их, гладил тыльной стороной ладони.

Расчет можно было сунуть машине, но Александр любил считать в уме. В приступе самокритики он говорил, что у него это как невырезанный аппендикс, от предков.

— Так, так... Гм, да... Маршрут на пятьсот земных лет. А в ракете другой счет времени, мы даже не постареем.

— Пятьсот земных лет! — поразился Борис. — Ничего себе кусочек. Знаешь, куда они ушагают? Э-эх... хе... — Он нервно хохотнул и нацепил маску, приложил ее к лицу и завел резинку на затылок, под волосы. Отпустил и сморщился — резинка крутнулась и вышипнула волосок. — А что будет на Земле? — спросил он. Сквозь маску получилось так: «Бо... бу... зее...»

Александр не отвечал. Молчит? На здоровье. Ему работать, а он вот заляжет спать.

Борис нащупал шершавую резиновую грушу и нажал ее. Запахло майским садом — сонный газ! Теперь у него своя жизнь, мир только своих ощущений: Борис видел сад, густые сирени и на них густые цветы. И отец садовыми ножницами срезал гроздья. Он же стоит рядом и берет их одну за другой. И слышит: по ту сторону резиновой маски разгорался предавний спор, бесконечный, как гиперболическая траектория.

Александр наседал на Бенга торопливыми словами. Бенг резал его доводы коротко и сухо:

— Ну и что, машины... ну и что, продукты...

Его бесконечные «ну и что» стучали по ушам и голове.

— Не шпиляй меня, — говорил Александр. — Конечно, будут огромнейшие города с кипением интеллекта в них. Согласен, дикая природа отжила свое, кончилась, будут парки и зверинцы. Человеческий мозг...

Благоухал сонный газ... «Только не спорить, не спорить, — убеждал себя Борис. — Нет, не выдержу».

Он заорал, оттянув маску:

— К черту будущее, если для этого надо убивать зверей!

Отпустил ее, торопливо работал грушей. И сон наконец пришел.

— М-м-м, — потянулся Борис. — М-м-м... Пятьсот лет... будущее... световая скорость... Зверье... М-м-м. Спать, спать...

Он попытался открыть глаза, но веки были словно липкие вареники. Розовые к тому же — смешно...

А по розовому бежали серебристые запятые. Как птицы.

— Земля... птички-невелички, — бормотал он. Язык коснел.

Среди зеленых трав каталась, будто мяч, голова Александра. Борис поднял ее, взял за толстые щеки. Баюкал.

— Черт этакий... — бормотал он ласково.

Но зеленое исчезло, а Александр остался, целый, невредимый. Он сидел верхом на баллоне кислорода и говорил:

— Световая скорость. Пятьсот лет. Посмотри на счетчик... — И ткнул пальцем.

Борис повернул голову — смотреть. Стрелка сдвинулась легко, словно на шарнире, уходила за черту. Кто там врал, что световая недостижима?

Зеленая стрелка дрожит хвостиком. Острый, он подбирается, то и дело пугливо отскакивая, к последней цифре шкалы — 300 тысяч километров в секунду...

Вот это скорость!

Бенг у штурвала. Борис видел его тяжелый черный затылок. Александр, запустив руку до плеч в аквариум, вылавливает улиток. Ясно — решил стряпать рагу.

Борис снова покосился на циферблат и пробормотал недоуменно:

— Мы и Земля. И в другом времени... Как это совместить?

— Проще пареной репы, — сказал Александр, подходя сзади и тяжело наваливаясь на плечо. — Возьми лист бумаги. Скажем, этот. Согни его пополам. Здесь поставь точку. Прими ее за земное время. И на другой половине поставь точку. Это будет наше время. Теперь сложи лист так, чтобы обе точки совместились. Теперь ясно?

Александр швырнул сложенный лист бумаги и расмеялся.

— Иди-ка ты на... астероид! — рассердился Борис. — Тебя спрашивают по-человечески. Пятьсот лет разницы? Жуть! Все умерли — родня, друзья. Знакомые девушки стали прапрапрабабушками.

— Наш друг ошеломлен, — похохотывал Александр.

— Одиночество, — говорил Борис. — Как его перенести?

Он не ждал ответа: они, навигаторы, математики, физики, засушенные сердца.

— Готовьтесь к посадке, болтуны, — велел Бенг.

И вот уже, заслонив половину неба, явилась Земля. Машина отключила пульт управления. Заработали тормоза, плазменные столбы устремились вниз. Магнитное поле космодрома подхватило ракету. Волновалась, кричала, неистовствовала толпа.

Их подхватили на руки, понесли.

Борис смотрел во все глаза — вокруг они, люди. Но какие незнакомые лица.

Борис скрючился на кровати. Сидел, уткнув в колени острый подбородок: совместились две точки на листе бумаги.

В открытое окно лезли туман и сирень, на подоконнике умывался старомодный серый котик. Где-то пели петухи, как и пятьсот лет назад, в деревне. Храпел, чмокал во сне Александр. Он натянул на голову одеяло. Желтые его ноги торчали наружу. Они мерзли и шевелили пальцами. Котик подошел и развлекался, трогал их лапкой. Каждый раз Александр дергался и рычал, но не просыпался. А пора бы им с Бенгом идти на космодром, сдавать ракету, отчитываться. Борис шагнул через подоконник в сад, в серую травку. О-о, пастушья сумка! Борис сорвал и пожевал ее горький стебелек! Интересно, как они ее зовут сейчас? Но вообще все было знакомо, вот даже комары! Да!

И запахи: земля пахла грибами, черемухой.

Благоухал тальник у ручья, тревожно, как на утиной охоте. Под бугром гнулся этот ручей алюминиевой проволокой, брошенной на траву.

Интересно, есть еще утки?.. Нет?..

Выше по бугру, среди черных сосен, вспучивались радужные пузыри домов, похожих издали на взбитую мыльную пену.

На поляне скакали какие-то люди в цветастых широких одеждах. И вдруг гром и огненная полоса в небе — это знакомо, это ракета.

Он брел тропинкой, пиная грибы-дождевики. В редком березнячке он увидел барсука. Ночной зверь, сопя и отдуваясь, возвращался домой. Видимо, с ручья. На Бориса и не взглянул, отчего тот почувствовал себя уязвленным.

Вдруг треск и хлоп крыльев — прилетела галка. Перепугав Бориса до смерти, она села ему на плечо.

Борис ежился, галка переступала мокрыми лапками. Потом дружески ушипнула его за мочку уха и улетила, Борис пригладил волосы. Он ухмылялся. Эх, сейчас бы сесть на пенек, курить и не спеша все уложить в голове — одно к одному — котика, дома-пузыри, тревожившие его лица, барсука, галку...

Но табака не было, не должно быть.

Он остановился и стоял, тоскуя по куреву. Долго, пока не услышал плески детских голосов и звяканье железа.

Он был готов дать голову на отсечение, что это звякают лопаты, ударяясь друг о друга. И если бы не прошедшие пятьсот лет, Борис решил бы, что дети идут копать землю. Но пятьсот лет прошли, и он не знал, что ему думать.

Из-за кустов шла процессия мальчишек лет десяти-двенадцати. Все мослатые, плоские, растущие — все выше Бориса.

Шли бодро. Двое несли лопаты и, оборачиваясь назад, звонко ударялись ими. Последним шагал бородатый старикан. Тоже налегке — майка, трусы, сандалии. Бодрый, ничего не скажешь.

Дети поздоровались, а Борис подошел к старику.

— Папаша! Закурить есть? — спросил он, глядя вверх на серую бороду. И со злорадством думал, что он старше этого верзилы примерно лет на четыреста пятьдесят, хотя и ниже ростом на половину метра. Им овладело странное высокомерие. Хотелось сказать: «Э-э-э, молодой человек».

— Закурить? — поразился старец. Он взялся за бороду. Дергая ее при каждом слове вниз, бормотал: — Закурить... курить... курение... воскурение... Вспомнил: «Табакокурение как вид самоотравления организма».

Как же, лет четыреста назад умер последний курильщик. Не дотянул и до ста лет. Смешно? А? Память о табакокурении сохранилась в анналах истории. Значит, у вас есть противоестественная привычка вдыхать дым.

Мальчики слушали.

Старец уставился на Бориса. «Попробовал бы сам не курить пятьсот лет, метлобородый», — сердито думал тот.

— Вы человек из прошлого, — старик шлепнул себя по блестящей лысине. — Один из трех... То-то, я смотрю, и ростик у вас. Человек из прошлого, — бормотал он словно в забытьи. — Он, конечно, полон атавистических привычек. Этот человек вроде окаменелости, но живой. Почти мумия. Мумия?.. Где их находили?

— В пирамидах! — сказали дети.

— А он живой, его можно спрашивать, с ним нужно поговорить, объяснить, растолковать. Я займусь этим, и никто не скажет, что это старческая болтливость, и не пошлет меня на игровую площадку. Не посмеет! Спрашивайте, спрашивайте меня, человек из прошлого, спрашивайте обо всем. Вас, конечно, все удивляет, поражает и, сами понимаете, ошеломляет. Спрашивайте же.

Старец глядел умоляюще. «Еще расхворается, пожалуй, — думал Борис. — О чем бы его спросить?» Он так расстроился из-за табака, что спросил о сущей ерунде:

— Вы не боитесь подцепить ревматизм, папаша?

Старик почесал себе подмышки и попросил объяснить слово «подцепить».

— Так, ерунда, — пробормотал Борис. — Атавизм.

— Сочувствую! — Старец вцепился в его руку и тряс ее. — Сочувствую всем сердцем... А слово «подцепить» вы употребили, по-видимому, в смысле «заболеть». Нет, я не боюсь ревматизма.

Разговаривая, они подошли к пруду. Ребята полезли купаться. И — началось... Борис, глядя на серую воду, ежился.

— Бр-р-р-р!.. Пожалейте ребятешек, зачем через край хватать? Они лезут в воду по дурасти, а вам надо быть умнее, — говорил он.

— Полезно для здоровья, — отозвался старец. — Я и сам. Вот как я!.. Бр-р-р, холоднющая... Но ничего, ничего, даже приятно, очень приятно. Бр-р-р!

Старец окунулся, фыркнул два раза и вылез на берег, неся на макушке веточку элодеи. Отжав воду ладошкой, скрипя по мокрой коже, присел раз пятьсот — грелся! Потом немного попрыгал на одной ноге.

Борис, сочувствуя, ходил вокруг.

Старец говорил, выкручивая бороду:

— Я веду — бррр! — он подпрыгнул, — ...такой образ жизни с детства и за сто двадцать три года всего раз болел насморком, да и то сенным.

«Гм, а больше пятидесяти тебе, голубчик, не дашь», — соображал Борис.

— Нужно жить соответственно возрасту. Пора на отдых, папаша, — жестко сказал он.

Старик испугался.

— Не хочу на площадку! Я работаю! — визгливо кричал он. — Дети берут меня с собой! А еще я поэт... конечно, не из огромных, но... кха-гм... пописываю, — добавил он, успокаиваясь.

— А, знаю, — сказал устало Борис. — «Папаша хитер, землю попашет, попишет стихи».

— Вот-вот! — обрадовался старец. — Попашет — попишет... Только вчера, знаете ли, я закончил поэму в двести пятьдесят тысяч строк: «Паутина и космос». Зачин такой:

Швырнув через вечность
Биенье волны,
Обнял я, опутал
Чужие миры...

Каков?.. А!.. А еще я садовод, пересаживаю эти тальники.

Ребята вдумчиво стали выкапывать тальник и обсаживать им пруд. «Умело, — решил Борис. — Им только дай воду — приживутся. Но почему мы не делали таких пустяков?»

Дело спорилось. Широколобый мальчуган командовал:

— Не сюда. Здесь вымокнет, сажайте выше!

Старец бросился к ребятам и выхватил лопату.

— А я?.. Меня забыли? — Вернулся, слегка запыхавшись. Показывал на ребят, давал характеристики: — Вот этот, Ив, — большой пластический талант. Какие движенья! Не работа — танец. Этот, Алексей, — математик. Все остальные просто отличные маленькие люди. Ну а Гриша, что в синем, он мыслитель. Не правда ли, великолепный череп? О-о, если бы он согласился побеседовать с вами. Хорош череп?

— Великолепный! — согласился Борис. — И что же, он будет сидеть и мыслить. Значит, сиди и думай, думай, думай...

— Ископаемые у вас понятия, — усмехнулся старец. — Сейчас мальчик — каждый! — имеет пять-шесть занятий. Учите, обязательных: умеет строить, сажать растения, выращивать животных, починять свою одежду и обувь.

— Крепко, крепко, — сказал Борис. — Одно мне не нравится: слишком уж они серьезные. Молчат, думают, работают, а детство когда?

— После ста двадцати! Когда человек наработается досыта! Живем так: в сутках двадцать четыре часа, — частил старец. — Восемь тратим на сон, четыре — на творения, четыре часа отдаем семье и друзьям, четыре — людям, четыре — природе. Вы отгораживались от природы, жили сконструированной жизнью, забыли о естественных связях. Человек — клетка вселенной. На нее влияют циклоны, приливы и отливы, сол-

нечные пятна, рождение новых звезд. Человек бьется в сетях космических сил.

— Так! Так! Так! — Борис согласно кивал головой, с ожесточением: он знал — у отца был шейный радикулит, предсказывавший точнее метеоспутника все непогоды.

Старец кричал:

— Изучают каждого, с рождения предписывают ему точку земного шара, где он может жить бодро и смело! Люди слабые теперь селятся у теплых морей, люди с горячей кровью живут на Луне, Марсе, в холоде и борьбе. Те и другие счастливы, они отдаются главному в жизни — Творению и его младшему брату, Деянию, ибо оии... Не так! Не так!

Старик бросился к ребятам, воткнувшим черенок вверх колом и наблюдающим за впечатлением. Старик посадил черенок, выпрямился, замахал на Бориса руками, грозил пальцем.

— А природа!.. Вы вообразили, что создали особый мир. Победить! Взять! Поставить на колени! Вы дрались. Не изучив тонкие и самые крепкие взаимосвязи, вы нарушили равновесие. Да, да, не возражайте! Леса повырубили, реки выпили. А животные, птицы, насекомые?..

И не отворачивайтесь, я вам выложу до конца. Воспользуюсь случаем, со своим прапрапрадедом я не могу поругаться, а вы-то мне попались. Тоже, наверное, и деревья портил, и воробьев сшибал? Или охотился, гоняясь с ружьем за животными? А? Вы же догадались, что во вселенной нет ничего оторванного друг от друга.

— Понял! — воскликнул Борис, щелкнув пальцами. — Все просто потому, что сложно.

Борис хихикал: старик был умница, все здесь умницы.

Лицо старика исказилось.

— Они идут, — пробормотал он. — Они схватят вас.

«Они будут сводить со мной счеты за все грехи: за охоты и реки?»

...Толпа стариков бежала к ним, крича, махая руками.

— Догоняйте! — проказливо крикнул Борис.

За холмом Борису попалась тропинка, отличная, утрамбованная ногами. Борис сел и быстро разулся. Он сбросил свои ботинки в заросли трав — розовых и белых кашек. Красота! Стой и цвети, бежать не надо.

— Я-то мечтал здесь прогуляться, — простонал Борис. Посидел, отдыхая, старики все-таки отстали, растянулись длинной цепочкой.

Борис подпустил передового метров на сто. Вскочил. Ура отдыху! (Он был как свеженький.) Теперь сможет бежать долго и быстро. Борис пожалел, что побежал сгоряча в сторону от космодрома. Туда надо было рваться, там и Александр, Бенг. Они спасут.

Борис подпустил старика еще ближе, присел — и рванул броском, придав себе этим дополнительное ускорение. Желтые его пятки так и замелькали. Травы, склонившиеся на тропу, под ноги, рвались. И отлетали.

А вот и ветер.

Он дул от леса и пах хвоей. И зеленый лес не так уж далеко. Он не синий. Значит, лиственный, густой, с глухими, тайными местечками. Наверняка там есть овраги и глухие логи. Не здесь, так у тех дальних сосен.

Борис взбежал на очередной холм и перевел дыхание.

Местность широко раскрылась ему: мерцали шары домов, синели круглые водоемы. Туда-сюда пролетали суетливые, поспешливые утки. На горизонте рычали продуваемые двигатели ракет. Это походило на приближающуюся грозу.

Гм, гм, значит, гравитацией так и не овладели...

Собаки (выскочив из травы, они без лая гнались за Борисом) теперь легли рядом с ним. Высунув языки, они ласково вертели хвостами. Они добродушно поглядывали на Бориса, моргая желтыми ресницами.

На усах собак были прилипшие обрывки паутины, и Борис догадался, что собаки охотились за ночным зверем, барсуком.

Они совали носы в его нору и лаяли, подцепив эту паутину. Затем пошли домой, он, бегущий, попался им на глаза, и собаки кинулись догонять его с предвкушением веселой игры.

Прогнать их, что ли, чтобы не помешали?..

Собаки, наверное, бежали из лесу. Это значит, в лесу есть барсучьи норы и глухие уголки. Как бы ни был утренний барсук нагл и бесстрашен, не будет он жить открыто, не та у него натура.

А до космодрома не добежать, это ясно. Ведь до него полсотни километров, не менее. Значит, в лес!..

Борис сбежал вниз с холма (по другой его стороне взбегали старики). Борис криво усмехнулся — чудачки бежали следом за ним. А могли бы забежать навстречу и окружить.

Затявкали собаки, нежно хватая Бориса за ноги. Он закричал:

— Я вас!..

Собаки с визгом кинулись в травы. Исчезли. Бегать бы, как они...

«Это хорошо, что гонятся за мной не долгоногие серьезные дети, — думалось Борису, — а старики с их коротким дыханием».

...Лес поднимался перед ним. Высоко. Ноги уже не несли Бориса, он не бежал, а шел. Зато и старики отстали. Их ярко-цветная толпа скатывалась с последнего перед лесом холма. До него метров двести или триста, и Борис уже не боялся стариков. Он сейчас хорошо спрячется от них и отсидится. А ночью уйдет на космодром или вернется обратно, там будет видно.

Борис еще раз оглянулся и вздрогнул — старики не бежали, летели. Их толпа редела. Один за другим они поднимались в воздух и неслись к нему.

Быть того не может!.. Но они летят, он чувствует их приближение и по надвигающемуся странному жару.

Ужас охватил его, и Борис вошел в лес, пошатываясь.

— Черт побери, — сказал он. — Черт все побери!..

Лес был ухоженный, чистый. То, что казалось издалека густодремучим лесом, было редкой, просторной, свободной от кустов лесопосадкой.

Попробуй спрячься... Борис искал и не находил укромного места, только пугал зверье — шарахнулась в сторону косуля, сердито хрюкнула кабаниха, прогуливавшая полосатых поросят.

Поздно прятаться — старик в красной одежде, тот, крючконосый, извилисто пронесся в промежутках деревьев. Увидев Бориса, он круто повернул к нему — и стал снижаться.

За ним планировали другие старики. На одних были легкие трико, на других — развевающиеся тоги.

Проклятые старики!.. Что он сделал им?.. Или они сумасшедшие?.. Или нарушен им какой-нибудь неписанный запрет? Ведь старики естественные хранители запретов.

А то, что они провели свою молодость, сажая леса... Не один же он их истреблял...

Что такое один!.. Он, правда, и не боролся, помалкивал, сам брал что мог, охотился, рвал дикие цветы... Бежать! Скорее от них!

Борис сидел, прислонясь к березе спиной. Муравей полз за воротник, а достать нет сил.

Муравей щекотался, бурундук смотрел с нижней ветки, и солнце посеребрило зверька, горело в каждой его шерстинке...

Раскинув руки, подлетали старики, опускались на землю и садились рядом, ничего ему не говоря.

Нет сил... И старики устали — потные, дышат тяжело... Ах, если бы это был сон!.. (Борис твердил про себя: «...сон... сон...»)

Стариков становилось все больше. Они прилетали стаями, будто птицы, они теснились вокруг него. Борис зажмурился и услышал их общее движение. Посмотрел — теперь старики стояли, загородив свет, и глядели на него.

Где их злоба?.. Они улыбались ему ласково, эти чертовы непонятные старики. Подошли крючконосый и утренний старики. Сейчас они что-то сделают с ним. Он бы не дался. Силы... Их нет...

— Ну, — сказал он. — Давайте кончайте. Скорее...

— Встань, — велел ему утренний старик.

Борису помогли подняться.

Теперь он стоял, держась за дерево. Шершавое, теплое.

— Ну! — сказал он.

Старик в красном взял его правую руку. Борис не давался — тот потянул руку к себе. Поднял. И все старики, вся их толпа трижды прокричала:

— Победитель!.. Победитель!.. Победитель!..

Хриплые их крики унеслись и вернулись эхом.

— В чем же? — спросил Борис шепотом.

— В состязании. Ты сказал, что не догоним. И не догнали, пришлось левитировать.

— Ура!.. Ура!.. Ура!.. — кричали старики.

— Увенчать его!

И Борис понял, что сейчас и будет страшное.

— Мы устроим торжественное шествие, — сказал ему крючконосый старик.

— Разведем костер!

— Сыграем в индейцев!

— Будем говорить, говорить, говорить. Расскажем.

почему после ста двадцати мы играем, а детьми были выдержанными и работающими.

— Споем наши песни...

И Борис познавал отчаянье... Что может быть страшнее? Он на четыреста лет старше каждого из них, этих долгоногих, борзых стариков. Надо же быть таким дураком, чтобы напугаться их и бежать. Не станет он жить со славой дурака!

Он закусил губу. Сердце его ныло от усталости и обиды. Он улетит, улетит. Немедленно! А ребята — философы и математики? Они умнее и старше его. Ах, как стыдно!..

— Спасибо, — сказал он и наклонил голову, чтобы спрятать выражение лица.

Старики обрадовались. Они ликовали и хлопали его ладонями по плечам.

— Вставай, соня, — будил его Александр. — Тебе чаю или кофе?

— Кофе, — сказал Борис, оттягивая маску. Снял ее и потребовал: — Побольше кофе, покрепче! Заспался...

— Итожу, — чеканил слова Бенг и при этом взмахивал рукой.

— Тысячелетия изнурительного мускульного труда, пот, мозоли... Так пусть же теперь машины всю работу делают, а человек думает. Но для работы головой нужны покой и тишина. А также города с их столкновениями и обменом мыслей.

Александр тряс головой:

— Нет, нет, нет, только нарядные толпы и веселые встречи. Пусть будет непрерывная радость, мы заслужили ее, все люди заслужили...

— Проповедуешь безделье?

— Спорите? Ну, ну, — сказал Борис. Он налил кофе в кружку и стал пить. Озирался, почти не веря себе, так был рельефен его сон. Здесь же прежнее, обычное:

аквариум, баллоны сжатого кислорода. И друзья спорят без конца, гадают о будущем. Чудаки...

— Примитивно судите о будущем, други мои, — сказал Борис.

— Скоро Земля.

Бенг включил радио на полную мощность. Ракета наполнилась густым тяжелым голосом:

— Я — «Плутон», я — «Плутон», — ворочался он. — «Жаннета», отзовись. (Это работала станция поиска.)

— Подлетаем!

Александр побледнел от радости и застегнул ворот рубахи.

— Я — «Жаннета», я — «Жаннета», — говорил Бенг. — Идем в секторе Б-1927, скорость вторая.

— Я — «Плутон», я — «Плутон», вход разрешаю. Сейчас начинаю обратный отсчет, «Жаннета», я начинаю обратный отсчет. «Жаннета», ты готова?

— Я — «Жаннета», отсчет можете начинать.

— ...Будущее, будущее...

— И что?

— Фантазии мало, а мозгу слишком много, — усмехнулся Борис.

Бенг оглянулся на него, поднял красиво изломленную бровь. Александр покачал головой и сказал:

— Это сигва.

— Кстати, как она там? — спросил Борис. — покормить ее не догадались? Так ведь?

Борис долго влезал в костюм высокой защиты. Жестко цепляясь им за все, влез в циклотронную.

Сигва теперь сидела на ящике урановых брикетов и от скуки глодала железную палку.

Увидев Бориса, она обрадованно захлопала крыльями и из желтой стала густо-фиолетовой. Борис помотал головой, отгоняя остатки сна, и подошел к сигве. Присев, он гладил тройной ряд ее ушей. Гладил и приговаривал:

— Ты хорошая, славная...

Сигва свистала, хлопала себя крыльями по бокам. От удовольствия закатывала три глаза, а четвертый, рудиментарный, светил лампочкой на кончике хвоста. И в это время счетчик, черт его побери, указывал на возраставшую активность гамма-лучей.

Борис чертыхнулся и, вынув из кармана горсть кремней, бросил их сигве. Та с радостным писком сгребла камни и захрустела, разжевывая их. Борис вышел.

— Бурная, блестящая личная жизнь, спаянная с техникой, — бубнил Александр. Он выглядел усталым. Должно быть, выдохся.

— Сменяй, — сказал Бенг. Он вылез из-за штурвала, потянулся, одернул рубашку. Борис сел на угретое место, вжался в кресло. Покосился на цифры — нормально.

Под куполом галактики ракета возвращалась на Землю.



МЕФИСТО

Опять Великий Кальмар!..

Он свернул и бросил газету в воду. Она поплыла корабликом и вдруг исчезла: море скрутилось воронкой и взяло ее в себя.

Сейчас она опускается на дно и ляжет там, развернув белые крылья... Великое море и Кальмар — Великий.

Море... Его шум идет отовсюду. Он бежит над блеском мокрых камней, путается в скалистых гранях и рождает маленьких, шумовых детишек. Те скачут через бурые пучки голубиных гнезд и зеленые прожилки ящериц.

Если вслушиваться, то шум делится на два разных, оба неторопливых и размеренных: широки взмахи бронзового маятника времени.

Шум говорит одно и то же: «Спи, спи, спи... Иди в покой, в неподвижность».

...Солнце со звоном бежит по воде. Маятник движется неторопливо, и на берег наплывают призмы волн

(водоросли потянулись к скалам, и эти светятся, искрятся пурпурными точками). Снова движение — маятник пошел в другую сторону. Теперь обнажается белый камень в глубине.

Газетчики... Зачем они звали? Что, он не видел перевернутых шхун и экипаж, утонувший в каютах?

Или догадываются? Чепуха.

«Это сделал Великий Кальмар?» — спрашивали они. И так видно, что он — сломан такелаж, вывернута часть борта.

Вероятно, закинул щупальца и, ухватив мачты, повис на них. И опрокинул судно.

...Полдень. Скамья теплая и ласковая — солнце! Все же эти воды не могут уравнивать жар. Холод и жар, две крайности. Человек тянет свою линию в промежутке крайностей, но способность стать посередине приходит со старостью. Это мудрость?.. Угасанье сил?..

...Отличная перспектива — зеленая бухта и кусок моря, отхваченный челюстями берегов. И тени бабочек синие. Тени круглые, как солнце. Это солнечные тени. Они бегут с бабочками, и слабые миражи ходят по каменной горячей стене. На ней дремлет кот, тонко посвистывая носом. Иногда настораживается и, подняв голову, узит глаза на все дневное. Зоркие глаза, холодные.

«Буду в полночь. Мефисто».

— Слушай, кот, вещая душа! Ты не спишь ночами, ты все видишь, все знаешь. Что будет? Он придет? Как я его увижу ночью? Ах да, полнолуние... Наконец-то я его увижу, если эта телеграмма не просто заблудившаяся в проводе электрические придонные искры. Вопрос: где кончается жажда всезнания и начинается мечта о всемогуществе? А вот к нам идет вкусный холодный чай, идет на негнущихся ногах моего старого Генри. Спасибо, старина, спасибо. Ты веришь в судьбу?.. Мне показали «Марианну». Это была трудолюбивая

шхуна — сначала грузы на Папуа, потом сбор «морских огурцов» Большого Барьерного рифа.

Оттуда виден австралийский берег.

Судно опрокинута на мелком месте. Значит, он где-то здесь.

А почерк его — ночь, спящий экипаж, крик вахтенного, когда он видит светящуюся массу Великого. Тот закидывает руки на мачты и повисает на борту — живой яростный груз!

Всегда одно — ночь и небольшие шхуны. Или яхты.

Эта цепь ночных нападений опоясала шар и подошла сюда. И вот газетчики вопят: «Внимание, внимание, появился Великий Кальмар!»

Ну а я что должен делать? 1115 новых видов абиссальной фауны — самое важное в конце концов.

...Библиотека. Тишина, запах кожи, запахи рук.

От моря, лезущего в каждую щель, от постоянно густой влажности бумага взбухла и книги раздулись.

А, Мильтон... «И более достойно царить в аду, чем быть слугою в небе». Вот что мог бы сказать Мефисто. Сатанинская гордость в этих словах. Безмерная. Кстати, каковы пределы роста кальмара-архитевуса? Есть ли мера? Или мерой служит безмерность придонных глубин? И это одинаково с погоней за знанием — чем больше их, чем полнее они, тем агрессивнее и безжалостнее?

И надо платить за знания: таково дьявольское условие. Они заплатили оба. Он платил болью, Джо — своими муками.

А если месть? Зачем было ждать так долго?.. Он всегда, давно готов.

...Солнце пробивает наборное, давних веков стекло. Его краски оживили комнату. Они пестры, как рыбы-попугай в изломах кораллов. Вот список яхт и шхун за этот год.

Индийский океан: «Сага», «Шипшир», «Смелый», «Каракатица».

Тихий океан: «Джемини», «Пирл», «Индус», «Флер», «Марипоза».

Атлантика: «Могол», «Артур», «Дэви Крокет», «Пигги», «Мститель».

...Тронутые руками времени бумаги, пачка пожелтевших листов, сотни, тысячи телеграмм — жизнь Мефисто. Как соединяют мысль, познание и действие. Какая удача, что маленький Джо был военным телеграфистом. А потом несчастье, словно удар или ожог: саркома. Мальчик стал скелет: огромный костяк, огромные руки и ноги, маленькая сухая голова. Он сказал: лучше жить хоть так.

Мефисто отлично владеет ключом. Вот первая, как труха, рассыпающаяся телеграмма Тире и точки, тире и точки, и перевод всей этой тарабарщины:

«...Я слаб, отец, и ноги меня не держат. Это еще действует наркоз. Сажу в пещере. Всю ночь кто-то долго глядел на меня огненными глазами. В них блеск фосфора настолько силен, что свет очерчивает странный, чудовищный контур. Мне страшно. Мефисто». (Такой избрали псевдоним — он сам.)

И примечание карандашом: «Начинается адаптация».

Мне тоже, тоже страшно, сынок, но только страх пришел сейчас. Вот череда телеграмм, длинная цепь, выкованная из звеньев страха.

6 июля: «...я так мал и слаб. Что я сделал этому, с горящим взглядом?»

7 июля: «...оказывается, это зеркало, поставленное для самонаблюдений, чужое тело вселяет в меня непрерывный ужас. Оно стиснуло меня — не шевельнешься, я вмурован в него, вмазан, стиснут, оно чужое, чужое, чужое! Я задыхаюсь в нем».

8 июля: «...ничего, не расстраивайся, отец, не расстраивайся, я сам хотел, я притерплюсь. Зато какой мир окружает меня! Ночами черный и горящий, днем пронизанный светом и движением».

10 июля: «...Рыбы, рыбы, рыбы. Они все охотятся за мной. Они выслеживают меня, они хотят съесть. Мне трудно здесь, я еще слаб и вял».

21 июля: «...Сегодня хороший для меня день. Сносное самочувствие и превосходные цветовые эффекты в сплетении кораллов. Прогуляюсь».

18 августа: «...Спасся чудом. До сих пор мне мерещатся противные жадные морды, длинные зубы, оскаленные, светящиеся, их круглые и злобные глаза. Возьми меня к себе. Мне страшно».

19 августа: «...Возьми, отец!»

Он вспомнил себя — успех в науке высушил его. Он стал прямой, логичный и жестокий к другим и к себе.

Познание иссушило сердце, оставался вопрошающий мозг.

Тот день был врезан в память. Он сел на камень в том месте, где толстый кабель нырял в море. Соображал, чем его можно прикрыть. Волна плескалась и булькала в камнях, и вдруг он увидел Мефисто. Он крикнул: «Как ты посмел!»

Мефисто полз к нему, тянул щупальца и глядел черными глазами. Они тарачились и от резкого волнения вращались в противоположные друг другу стороны. Крупные стежки шрама опоясывали голову.

Это липкое длинное тело, вместившее душу и мозг Джо, было ненавистно и родило только страх. Он стал пятиться, отходить, пока не споткнулся о камень и не упал... А тогда пришла ярость, фиолетовое чудовище.

20 августа: «Я понял тебя, отец, и это меня опечалило.

Раньше я тебя никогда не понимал и гордился тобой. Я долго не буду тебя беспокоить, долго!»

Тогда и пришло первое их молчание — долгое.

20 сентября: «...Болел и потому не ел две недели. Пост оказался полезен — восстановил силы. Не выхожу. Смену дня замечаю по игре оттенков воды. Днем

она зеленоватая, к вечеру чернеет, проходя все оттенки зеленых, синих и пурпурных тонов».

21 сентября: «...Генри опустил мне на шнуре большую и вкусную треску. Я видел его наклоненное доброе лицо. Мне захотелось всплыть. Я унес рыбу к себе и съел всю, без остатка. Я уже привык к сыроедению и подумал только механически: «А почему она не зажарена?» Насытившись, я спал (теперь я сплю охотно и помногу, но сон этот больше похож на дремоту). Меня коснулись подозрительные движения воды. Я увидел мурен. Они смотрели, шевеля плавниками. Мне хотелось вскочить и убежать, но я сдержался. Мурены слизистые и толстые, у них собачьи зубы, и запах их неукусен. Они снились мне всю ночь».

22 сентября: «...Земных снов у меня нет. Полагаю, что мозг мой так истощен привыканием к чужому, что маневрирует только кратковременной памятью. Помни, я люблю тебя».

Что он видел тогда в нем? Не только отца, но и гордость свою? «Папа, если все удастся, я буду твоим морским глазом». Я убеждал себя, что лучше ему жить так, чем умирать.

Ничто не говорило об удаче операции, я не мог знать, что в морской воде и пище есть фактор сращения чужеродных тканей.

25 сентября: «...Я знаю, что ты терпеть не мог маму. Ее женское и требовательное пришло в конфликт с твоим стремлением к знанию. Мне стало тоскливо, и я позвал к себе память о ней. Я старался вообразить себя маленьким, в коротких штанах, с обручем и собакой. Это было трудно сделать, потому что ко мне пробрались маленькие медузы (их ты просмотрел в наших водах). Они жглись. Наконец пришло мамино лицо, но оно было окрашено зеленым».

30 сентября: «...Я изобрел защиту от рыб. Вчера отыскал актиний, похожих на красные гвоздики с нашей клумбы. Их посадил у входа в пещеру на камнях,

а двух самых крупных держу в руках. Сегодня утром мурены опять явились ко мне. Я сунул актиний им прямо в глаза, они отпрыгнули и убежали. Жить можно».

11 апреля: «...Наблюденье: здесь все едят друг друга. Самых маленьких едят те, что больше их (рачки и рыбы), тех — большие, больших поедает огромные. Пища достается тем, у кого рот большой и зубастый».

18 апреля: «...Видел китовую акулу, глотающую рачков и планктон. Мы встретились нос к носу, но я ее не испугался. Больших с маленьким ртом здесь не уважают».

Бедный мальчик! Он еще шутил. Я же препарировал его ежедневный улов (он складывал все в проволочную сумку, подвешенную к бую).

29 мая: «...Подбрось-ка мне цветные таблицы, а то напутаю в описании окраски придонной мелочи. Сегодня в полдень сверху опустили бечевку. К ней была привязана макрель. Я решил — ага, это мне! — и сцапал ее. Тотчас сверху дернули, и в меня впился большой крючок. Меня поймали. Это больно. Я упирался изо всех сил, хватался за что мог, но меня тянули вверх. Я не сразу сообразил, что нужно делать, но потом запутал леску в камнях и вырвал крючок с куском мяса. Истекаю кровью. Увидев рану, испытал противоестественное — мне захотелось есть самого себя. Тому виной рыбаки. Я им еще припомню. Мефисто».

30 мая: «...Весь день пролежал в пещере, размышляя о жизни. Решил — нужно быть сильным и хитрым. Сильные и хитрые много и вкусно едят и спят в самых уютных пещерах. Я должен приспособиться. Принять все правила игры».

1 июля: «...твое поручение изловить скорпену выполнил, но укололся и чуть не умер. Ты безжалостен ко мне, отец. Или ты хочешь от меня избавиться? Ответь, во время операции около меня лежало старое мое тело. Что ты с ним сделал? Иногда мне кажется, что оно где-то рядом и я еще встречу его».

7 июля: «Сегодня в моем мозгу горят невыносимые видения, звучат слова, гремящие, как медь, слова, которых я никогда не выскажу».

17 июля: «Меня вчера чуть не съели. Я увернулся и, сжавшись, упал в камни, а надо мной пронеслось что-то с разверстой пастью. Это не была акула. Такого ты никогда не увидишь. Закажи кинокамеру для осьминога. Ха-ха!»

18 июля: «...я так одинок, отец. Возьми меня обратно и держи в каком-нибудь чане. Я несчастен и жалок».

«...Я силен, рано утром я плыл, развивал скорость. Я пронизал толщу, и вынесся в верхний слой, и все ускорял движение. Мимо неслись, вытягивались в серебристые полосы макрели и сарганы. Я выплеснулся, взлетел в твой удушливый мир и упал обратно.

Брызги осыпали мое тело. Я чувствовал безотчетную радость. Но ненадолго. Я вернулся в пещеру, думал и был несчастлив...»

«...Поймал скумбрию и съел ее. Это вкусно, но еще вкуснее крабы. Вкуснее крабов бывают только устрицы. Охочусь за ними так — беру камешек, подкрадываюсь и вкладываю его между распахнутых створок. Потом отщипываю по кусочку и ем. И все время оглядываюсь».

Кто знал, что через пятнадцать лет он получит от газетчиков кличку Великий Кальмар. Вот кого я боялся — газетчиков. Теперь я смеюсь над ними.

«...Сегодня я ушел на глубину километра. Тяжело и страшно. Здесь такая глубина черноты, которую трудно и вообразить себе. И в ней горели тысячи огней, и я подумал: «Как в городе». Я увидел выходящего из глубин кашалота. В него впился кракен. На тупом рыле

кашалота он выглядел шевелящимся венцом. Вокруг чудовищной и прекрасной пары кипело что-то светящееся и облепляло их, вычерчивая и проясняя очертания. Я желал победы кракену.

Я же опустился на дно и долго сидел. Вокруг меня было немного звезд и парочка морских огурцов. Я ждал так долго, что увидел чешуйчатого плоского ящера. Он шел по дну, медленно и тяжело ворочая головой, и лапы его были толще тела. Несмотря на темноту, я видел его отчетливо медлительные движения, срыванье придонных живорастений, неторопливые пережевывающие движения и красный глаз на затылке. Я понял — это мое инфракрасное зрение. Меня ящер не заметил, хотя и прошел совсем близко. Намекни Бартону, что глубинные его снимки на дне достоверны». (Я намекнул, но Бартон мне не поверил. А потом его яхта, которой я так завидовал, исчезла.)

«...Сцапал дельфина-белобочку. Он рвался из моих рук и испустил серию различных звуков. Остальная стая скрылась. Причем мною было отмечено следующее: поначалу его вскрики были другого тона, и стая рванулась к нему, а когда я распустил все руки в положении мною диаметре, он заговорил другое, и стая ушла. Он предупредил. Так как по установлению этого факта мне безразлично, может он говорить или нет, то я прокусил ему череп. Насытившись, я ушел к себе и долго размышлял над жизнью дельфинов. Они многого добьются. Они умны, имеют язык и общественны. По-видимому, дельфины будущие владыки моря».

«..Нет, властелинам моря нужна сила, а дельфины слабы. Морем властвуют кракены. Изредка я вижу их, сильно пугаюсь и несусь изо всех сил. Потом забиваюсь к себе в пещеру и сижу там часами».

«...Иногда я вижу людей. Они недвижны, и лишь их волосы слабо шевелит течение. Они медленно погружаются вглубь. Они так похожи на тебя, отец, что я пугаюсь и убегаю. Я понял: я боюсь стать таким же неподвижным. Но мне любопытно, из укромного места я слежу за ними. А они плывут, неподвижные, загадочные. Но мне кажется — они бросятся, и схватят меня, и будут что-то делать. Мне будет больно, я не люблю боль».

«...Что я люблю? Я люблю много есть, я люблю хватать других и убивать их.

Чего я не люблю? Когда меня хотят съесть. Не люблю людей, не люблю родниковую воду, бьющую промеж камней. Абстрактные знания, ранее привлекавшие меня, сейчас уступают знаниям, как уберечься и быть сытым».

«...Увидел странных рыб, черных и крупноголовых, с торчащими изо рта кривыми и тонкими зубами. Рыбы мерцали синим светом. Я схватил их. Все мое существо кричало — нельзя их есть, нельзя. Мозг сказал мне, что знать верно можно, только попробовав.

Я поймал восемь штук. Шесть я отдал тебе, а две съел. И сейчас весь горю. Мне страшно. Я умру и буду недвижим. Помогите, отец!»

(Затем тусклые смыслом, больные слова.)

«...Выжил, вы мне никогда и ничем не помогаете. Я могу рассчитывать только на себя. Все мне враги. Весь день сидел в пещере и думал о могуществе. В чем оно заключено? В силе, в зубах или плавниках? Я умнее краба, умнее рыб, умнее осьминога. Я имею человеческий ум. Он — сила».

«...Решил — не нужно верить вам, отец».

«...Сегодня видел кракена. Он неторопливо плыл мимо и тянулся почти бесконечно. Какие у него сверкающие глаза, какой крепкий клюв, длинные и толстые щупальца. Он был чудовищно прекрасен. Хорошо быть кракеном».

«...Вы просили, и я нырнул в пучину. Я долго и медленно погружался вниз, изо всех сил работая водометом и руками. Я миновал километр за километром. Креветки обстреляли меня светящимся соком.

Я погружался. Навстречу неслись огни прямо в глаза и тут же рассыпались фейерверками. Дышать становилось все труднее, руки слабели, тело плющилось, и временами казалось, что меня жует большая беззубая рыба.

Все во мне кричало — вернись! Погибнешь! Но ум говорил — держись, ты узнаешь новое, оно пригодится. Наконец я опустился на дно. Оно было безжизненно, почти безжизненно, только шевелилось что-то похожее на большое одеяло. Оно плоско-черное, с зелеными слабыми огоньками.

От него шло ощущение пронзительной, ядовитой силы.

Рядом я увидел странную девятилучевую звезду, я схватил ее и стал подниматься, и черное гналось за мной, колыхаясь.

Я рванулся и выплыл на поверхность. Там долго лежал без сил, и волны укачивали меня. Никто не напал на меня.

Отдохнув, я поплыл к вам. Вопрос: стоит ли рисковать из-за несъедобной дряни?»

«...Сегодня мне приходят мысли, холодные, как подводный ключ. Я умолчу о них. Размышляя, я забыл завалить вход в пещеру, и ко мне вошли три мурены. Я раздробил им головы и съел их».

Через два года: «...Я ищу новую пещеру. Я могу спать всюду — меня боятся, но считаю это излишним риском. Всегда найдется дурак с ртом больше мозга. В пещере же уютно и надежно. Ем почти всех. Думаю обычно о еде. Да, тех рыб, что нужны были тебе, я съел по дороге. Жди другого случая. На вкус они так

себе. Кстати, почему ты не купаешься в море? Я у берега вижу много людей, а тебя никогда».

«...Сегодня нашел подходящую пещеру. В ней жила компания осьминогов. Они никак не хотели выходить — надувались, тарачили на меня глаза. Я поймал треску и, показывая им, выманил и разорвал их».

«...Принес удобный камень и приспособил его как дверь. Ты интересуешься черепахой-логерхедом. Отвечаю — невкусно, но есть все-таки можно. Сегодня ко мне спустили наживку. На один крюк было насажено две рыбы — маленький тунец и рыба-летучка. Я расшвирил, всплыл на поверхность и, ухватив лодку за борт, опрокинул ее. Теперь этот человек спокойно лежит рядом со мной. Чтобы его не унесло течением, я прижал камнем. Что мне с ним делать? Съесть?»

«...Как ты смеешь мне указывать! Нарочно съел его, хотя он груб и невкусен. Я чуть не подавился пуговицей, но, как видишь, все же настоял на своем. А может быть, и ты, нацепив маску, заглянешь ко мне? Приглашаю. Мефисто».

Прошло еще три года:

«...Я огромен и безжалостен, я умнее всех. Только ум и никаких чувств. Ты не можешь себе представить, какие здесь живут дураки! Пример — четыре архитевтиса напали на кашалота. Первый вцепился ему в голову, а три остальных дрались между собой из-за еще не убитого кита. Тот вынырнул, съел напавшего на него, потом повернулся к дерущейся троице. И опять один вцепился в кашалота, а двое так и дрались между со-

бой. Щупальца кусками летели в стороны. Идиоты! Не волнуйся, я не ем человечков, я питаюсь дельфинами и молодыми кашалотами».

«...Ты мне предлагаешь обмен: я буду тебе ловить новые виды рыб, а ты меня кормить. Брось, я не дурак. Сейчас я тебе нужен. Но кто может поручиться за будущее?! Ты завидуешь мне, моему уму и силе, ты хочешь отравить меня. Я не верю тебе, я никому не верю. Я одинок. Одиночество — сила».

«...Вчера я убил первого взрослого кашалота. Я дс-ждался, когда архитевтис вцепится в эту гору мяса, подкрался и прокусил кашалотий череп. Архитевтис бросился на меня, пришлось убить его».

«...В этих водах я самый большой и сильный. Я никого не боюсь. Пробую силу на вас, людях. Вчера увидел яхту. Я все рассчитал. Ухватившись за правый борт, я повис всей своей тяжестью и опрокинул. После чего лег на дно и смотрел, как людей ели акулы. Их набежало штук двадцать. Они метались длинными теньми, а я лежал на скале и смотрел. Огромный, безжалостный и прекрасный. На следующий раз попробую опрокинуть парход».

«...Вышло и с парходом. Название: «Святая Анна». Я знаю — я буду расти, расти, расти много лет. Знаю — я сам кракен. Я стану сильным. Я — умный. Я — холодный разум в глубинах океана. Я буду властелином моего холодного и огромного царства. Я буду жить вечно. Я всюду распространяю страх. Я буду равнодушен к покорным и беспощаден к врагам. Я внушу ужас. Я буду царить в океанах по праву ума, силы и хитрости. Есть приятно, но внушать страх еще приятнее».

«...Встретил осьминога, огромного осьминога, тонны на две. Увидев меня, он побледнел и притворился мертвым. Я оставил ему жизнь — нужно же их приучать к покорности! Я всплыл около лодки, полной рыбаков. Позеленевшие, вытянутые лица! Я оставил их жить».

«...сегодня я видел кракена неизмеримой длины и мощи. Он был глуп. Говорю «был», потому что его уже нет — я подкрался и прокусил ему череп. Теперь сижу в скалах на его месте и расту, расту».

«...Я страх, я ужас морей. Когда я всплываю, океан волнуется и все живое прячется от меня. Даже вы, люди, сворачиваете в сторону».

«...Я уйду в свое царство, в одиночество, в молчание. Навсегда. Прощай, двуногое ничтожество. Мефисто».

...Умер закат — золотая полоска. В бухте появилось большое скопление ночесветок. Вода светится. В нее уходит кабель. Он вползает в нее, как резиновый шланг. Много тайн выкачал он из моря, из светящихся глубин. Кроме одной — Мефисто.

Он громаден, наверное. Никто не знает, каких размеров достигают архитевтысы в таком возрасте.

Скажем так: Мефисто — его эгоизм, погруженный в глубины моря. Нет, он эгоизм науки.

Мефисто — его жадные глаза, брошенные в море, ищущие руки, опущенные до самого отдаленного морского дна. А сейчас придет его Джо, милый сын, раздвоившийся в смерти, лежащий одновременно и под холмиком в саду, и в теле гигантского кальмара. «Ве-

ликий Кальмар — а я его отец. Дико! Словно увидеть сына ракетой, машиной, кораблем, молнией».

— Генри, кофе!

Вот он, обжигающий и ароматный. Кофе! Приятный запах счастья с горчинкой печали, аромат цветов с горечью увядающих листьев.

— Иду, Мефисто.

...Какие влажные дорожки, как ласково касаются листья моих щек — прохладные и влажные их ладоши. Так касаются холодные руки, сплетающиеся струи глубин. Покойно лежат на донном песке, мягком, золотом песке. Вот и лестница, ведущая вниз, и перила, лишние для привычного человека.

Светит луна, и видно все. Думал ли я, что Мефисто вырастет в чудовище? А думал ли Райт о бомбардировщиках «либрейтор»?

Кох — о бактериях в бомбах?

Бэкон о пулемете? Думал ли сэр Резерфорд о водородной бомбе?

...Вода черна, она шевелится, отражая луну, и родит жирный блеск. Сколько еще в ней тайн. Их не схватишь.

И все пропитано ожиданием и страхом. Дрожь в руках, под сердцем. И все дрожит вокруг. Прощай, вкусный кофе Генри.

Прощай, мое богатство и большая свобода, подаренная им. Спасибо за нее тебе, отец! Ты был добр, ты хорошо вел торговые дела.

— Мефисто, я жду-у-у!

Звук пронесся, отразился и ушел в воду. Та молчала. Старик сутулился, глядя в воду. Ему стало казаться, что ничего нет и не будет. Он зевнул — от напряжения и подумал, что завтрашний день будет теплый. Оттого не сразу заметил перемену, а увидев, замер, положив ладонь на грудь, к сердцу.

Вода еще молчала, но в ней, среди скользящих лунных блесков, растерзанной лунной плоти, проходила какая-то работа. Вот, шевельнулась. Лунные отблески заколыхались.

Скольжение отблесков ускорилося, медными полосками вскинулись летучие рыбы, исчезла белая запятая рыбацъей лодки.

И вдруг море поднялось, закипело и вспенилось. Мелькнули быстро вращающиеся колеса и покатились к берегу. Они расправились, вздыбились лесом рук-щупалец.

Щупальца упали на сосны, вцепились в них. Трещали и ломались стволы, гроыхали и скатывались камни, ревел сбегающий поток воды. Из черноты выплывало тело кракена — огромное и черное, словно затонувший корабль. Мефисто пришел.

Сверкнули фосфором глаза, будто колеса, и Мефисто стал уходить в воду. Исчезало тело, но еще светились гневные глаза. Щупальца, упав на берег, заскользили обратно.

Старик по-прежнему стоял, прижав обе руки к груди. В ней сидело острое. Оно пробило грудь и не давало дышать. Он не мог шевельнуться и не двинулся даже тогда, когда, черное и толстое, толще сосны, скользило мимо щупальце Мефисто. В слепом своем пути оно хватало присосками камни, доски, лодки — все, что ему попадалось. И, словно еще один малый камень, совсем не заметив, оно прихватило отца. Еще блеснули глаза, и потянулась рябь — Мефисто уходил в океан.

...На берегу мелькали огни и маленькие людские тени. И возносились слабые их вскрики.



ГОЛОСА В НОЧИ

Он видел — падает в океан горящая капсула.

Видел — ее огонь перечеркнул тучи и вошел в желтизну закатного горизонта.

И встал на воде белым крестиком.

За ним, далеко-далеко, в спящей желтизне заката и входящего в воду солнца, была ракетная база. Она нащупывала его (и капсулу) своими локаторами.

— Черт все побори! — закричал Сельгин и прикрыл глаза ладонями. Он нажимал на глаза, но видел капсулу, опершуюся крыльями о воду.

Она не тонет, поплавки держат ее, он выбросился рано.

Но Синугола велела. «Бедная моя лодочка!» — подумал Сельгин.

— Черт все побори! — гневно вскрикнул он и подобрал ноги — парашют не мог далее нести его. Сельгин падал в океан, в воду. До живой, корчащейся ее поверхности оставалось два или три метра.

Вода!.. Гребни, кипящие какими-то пузырьками, подсакивали и хватали его за ноги.

Вода! Вот она схватила его, повернула на стропях, показав ему черноту других горизонтов.

Вода казалась Сельгину отвратительно густой. Эти пузырьки... Они со сверкающей желтой точкой посредине, они смотрели на него рыбьими глазами. И Сельгин понял — океан страшно, опасно живой. И ощутил тоску по простоте космоса. Тот предельно ясен. Он — формула, написанная мелом на черной доске. Сельгину хотелось видеть его, жить в нем, летать. Обязательно. (А здесь он видел суету туч, их грозную черно-ржавую окраску, горящую ракетную капсулу, стоящую на волне. Ее держали надутые автоматом поплавки.)

Но волны поднялись над ним, схватили его. Рывок! Удар! Задержав дыхание, Сельгин дернул рычаг спаскостюма. Тот стал медленно надуваться, сжав бока и горло тугой резиной. Он высоко поднял голову Сельгина над водой.

И Сельгин поплыл — костюм образовал небольшой резиновый плотик. Сельгин лежал и злобно смотрел на воду. К нему, желая утопить, шли волны, большие и мелкие. Но на этих мелких сидели другие волны — помельче, на тех — крохотные. И все злые...

Вот плеснулись Сельгину в лицо.

Он сжал губы.

— Спокойствие, — захрипел спаскостюм. — Полное спокойствие, я берегу вас.

Это было так неожиданно, что Сельгин рассмеялся запрокинутым кверху ртом. И сразу глотнул воду. Он сплюнул.

— ...Понимаю ваш смех как нервное расстройство. Прежде всего полное спокойствие, — шипел, будто простуженный, голос робота. — Доверьтесь мне, я удержу вас на плаву двое суток. Есть запас питьевой воды. Не забывайте — паника увеличит расход белков

и витаминов. Будьте спокойны. Я забочусь о вас, я, спас-костюм № 10381, серия СК.

И Сельгин увидел — к его щекам потянулись две трубки, одна красная, другая густого синего цвета.

— Вода, — сказал автомат, постукивая Сельгина по носу синей трубкой, и повторил: — Вода.

— А пища? — спросил Сельгин.

— Пища... — Вторая трубка стукнула его.

И тотчас заговорила, жужжа и треща, база Синуголы. Вертолеты они не посылали — сильно штормит.

— Жди Руфуса, старик, — велели ему. — Жди.

Волны становились крупнее. Подходила та гроза, которая сбила его, родив на закрылках капсулы шаровые молнии, четыре электрических апельсинчика.

Сельгин засек их по внезапной сумятице приборных стрелок. А сначала шло так удачно — оторвался от «Фрама», сошел с орбиты и стал проваливаться вниз, до воздушного слоя. Ударился о него и, подскакивая, пронесся вокруг шара по траектории снижения. Скользнул над Африкой и Атлантикой... А там Кордильеры, Тихий океан... Индийский! (Здесь-то и был грозовой фронт. Он прошел сквозь снежные его горы.)

Внезапная сумятица приборов принудила его осмотреться, и он увидел электрические апельсинчики. Они сидели на правой плоскости, около цепочки заклепок.

— Анафемы! — ругнул их Сельгин. Но испуга не было. Так, веселая злость.

Он перекинул глаза на другую плоскость и засек второе семейство молний. Они тихо, мирно сидели рядышком, как два желтых цыпленка.

— Черт поberi, я вас сброшу! — сказал он им и круто направил машину вверх. Ускорение село на его плечи. Схватив его голову, оно стало вдавливать глаза в череп.

— Умммм... — простонал Сельгин, выходя обратно к пронзительному и косматому солнцу высотного неба.

И рассердился на молнии по-настоящему — траектория нарушена, маршрут сломан. Электродьяволы! Исчезли? Нет, сидят. И Сельгин тотчас же бросил машину вниз, к океану, продрал ее длинное тело наждаком воздушных потоков, даже искры посыпались. Тут-то молнии и взорвались — разом!

— Прыгайте! — завопила Синугола. — Прыгайте!

Сельгин нажал кнопку выброса.

— ...Напрасно, — ругал он себя теперь. — Ах, напрасно. Напрасно.

Гроза ушла — хлестал дождь. Костюм плотно зажал его — не шевельнешься. Воздушной помощи ждать было нельзя из-за сумасшедшего беспокойства воды и туч. Судно?...

А если не найдет?

— Не беспокойтесь, — говорил ему спас-костюм. — Я установил связь. Судно придет ровно в ноль часов. Не пугайтесь ранней темноты, здесь низкие широты. Хотите слушать концерт?

— Молчи, костюм, — попросил Сельгин. В небе опять перемены — тучи быстро разбегались по сторонам. Небо, освободясь от них, обрело в своем цвете грозную мощь полированной меди.

Может быть, все же пришлют вертолет?..

Мелькнул обломок луны, мотаясь и то подскакивая, то проваливаясь вниз вместе с волнами.

— Рекомендую употребить половину пищевого порциона, — внушал спас-костюм. — Пищу глотайте неторопливо.

— Не хочу! Мне здесь все надоело. Слишком много воды и туч. Ты сможешь перегнать меня в другое место?

— Нельзя, я сообщил наши координаты.

Быстро темнело. Луна неслась между туч. Лицевыми вмятинами она улыбалась Сельгину, — он почувствовал раздражение, он ощутил себя, сжатого. Ему захотелось биться, все сбросить и убрать — дурацкий костюм, воду, слишком густой и мокрый воздух.

...Луна ухмылялась с особенным значением. Какое-то судно шло мимо Сельгина. Оно появилось внезапно — черное, без огней и стуков машины.

Сельгин молча следил, как мимо него шел черный, длинный корпус. Он не хочет связи, не хочет помогать. Почему? Свяжусь-ка с Синуголой.

Корабль шел — молчаливый, в окрашенных луною волнах. Его борт... В нем проступала черная трещина. Вода входила в нее и выливалась обратно. Те, огромные и черные, что возились на борту, быстро собрались в одно широкое тело. Оно с плеском упало в воду и рванулось к Сельгину. Вода закипела, вокруг завертелись и взметнулись черные толстые веревки. В тот же миг спас-аппарат с долгим шипением выпустил густо-черное облако. Оно затянуло луну. У Сельгина перехватило дыхание.

— Кальмар... Прошу, не дышите полторы минуты, полторы минуты, — бормотал костюм. — Это напал кальмар. Считайте до девяноста, считайте.

Сельгин тряс головой — едкий пар жег лицо.

...Когда газ рассеялся, тело корабля было далеко. Оно сверкало и походило на упавший в воду осколок луны. И вокруг никого — вода, вода... Проклятый кальмар удрал.

Спас-костюм жужжал электросигналами, зовя кого-то Тики.

«Напрасно», — решил Сельгин. В той абракадабре воды, ключевь воздуха и морской жути найти его почти невозможно. Но какая яростная и жестокая стихия! С ней приятно сцепиться. Это настоящая борьба!

— Хорошо! — крикнул он. — Спас-костюм, здесь хорошо!

— Помешался, взываю к «Тики», к «Тики»... — говорил спас-костюм. — Рекомендую успокоить себя. И мне трудно — отказало сопротивление № 1001882. Возьмите в рот трубочку, покрытую светящимся составом. Возьмите в рот светящийся состав. Немедленно! Я срочно зову «Тики», нас переместят... — Костюм бормотал и охал. Сельгин потянулся шеей, поймал трубочку губами, ощущая горечь.

Вместе с нею появилась мгlistая, зелено-черная путаница в голове и пришел сон. Нет, начало его — рябь и мелькание зеленых пятен. Или темных, живых тел?..

Они подскакивали, всплескивались. Это куски волн. «Сон... Сон...» В наступившем приятном сне перемещались разные ощущения и звуки: толчки, пронзительные свисты, чье-то быстрое бормотание. Сельгин уловил движение... «Сон...»

Вдруг лицо его затянула пленка воды. Он фыркнул и поднял голову — вокруг него вращался тесный клубок тел. В наушниках — их странный говор.

«...Сон». Он опустил голову, зажмурился, слышал странные голоса:

— ...Мы несем, несем человека, поднимая его высоко. («Сон, я сплю, но в космосе не бывает таких снов».)

Опять посмотрел — черные спины крутились в воде. Веселая толкотня, его несут... Отличный сон!

— Спасатели, — бормотал во сне знакомый голос. А, это спас-костюм. — Они работают в здешней зоне, они помощники Руфуса. Слушайте электронного переводчика. («И это сон, — думал Сельгин. — Сон, сон».) Но пение все пробивалось в наушники, звуки слагались в слова.

— Сarti, что делал ты в камнях Синуголы?

— Я искал моллюсков-жемчужниц... Мы плывем, плывем, плывем...

— Ты нашел их?

— Меня просил Ямамото, он освежает кровь устричного стада.

— Что ты увидел в водах прибрежных камней?

— Многое... Мы плывем, мы плывем...

— Как миновал ты опасности мануэзов?

— Они не тронули меня и не помешали. Я видел Эвана, твоего взрослого сына, он живет там.

— ...Мы плывем, мы плывем, мы плывем...

— Что ты говорил ему?

— Я не волновал его твоим прокушенным спинным плавником...

— Мы плывем, мы несем человека...

— Да это же не сон! — крикнул Сельгин.

Он резко поднял голову. Вокруг него быстрые, скользящие черные тени... Акулы? Он похолодел от ужаса. А-а, это дельфины! Он слышит перевод их вскриков в понятную речь. В океане чудесно. Товарищи, спас-костюмы, дельфины, вода, эваны. Хорошо. Космос рядом с океаном — простая черная доска с меловыми линиями формул. Пустота! А жизнь — здесь.

— Говорите, говорите, — просил он дельфинов.

— ...Жиго, где ты пропадал вчера? Мы играли весь день.

— Я был в черных проливах.

— Что делал там?

— Я провожал большие машины и не давал им сесть на камни. Я играл с ними. Люди бросали мне вкусные сардины.

— Тебе было хорошо, но и мне, но и мне.

— А что делал ты?

— Я подскакивал вверх, я разбегался и взлетал вверх, я почти жил в стихии человека.

— Напрасно, каждому дано свое. Мы ушли с земли в теплое и сытное море, вспомни наши легенды. Если бы новый друг жил с нами, ему было бы хорошо. Он не искал бы гремящего полета, а плавал в голубых лагунах и познавал нашу мудрость...

— У каждого существа своя мудрость.

— Есть общая мудрость.

— Знаю — помогать и жертвовать. Быстрее, Джерри. Я слышу. Руфус зовет меня. Я слышу, слышу его, он почти живет с нами, мы бережем его.

— Он близко?

— Он рядом, до него сто, и двести, и еще пятьдесят, и еще тысяча всплесков. Сейчас наш друг — в этом холодном и плотном костюме — пустит вверх яркую звезду, и капитан Джерри увидит ее.

— ...Мы плывем, мы несем человека...

Когда загремело железо и свет прожектора ударил в лицо, Сельгин поднял голову. К нему подходила светящаяся громада — корабль «Тики» под командой капитана Джерри Руфуса.

Ходят слухи, что именно Джерри Руфус уговорил Сельгина стать океанавтом, но это глубокая неправда. Решение родилось, когда Сельгин увидел игру темных тел, услышал дельфиньи голоса.

Но правда, что он сказал Джерри Руфусу (тот поднес ему в каюте согревающую рюмочку коньяка).

Он сказал:

— Черт возьми, я до смерти хочу к вам, к ним, в воду.



СЧАСТЬЕ

Идет день, и все здесь привычно. Хотя свет и пропитан какими-то искорками, хотя он не льется, а сыплет на землю. Пусть себе!

А вот закат — это на Маг делается здорово! Вот только что солнце было круглое и голубое, и уже уперлось в горизонт и смялось в четырехугольник, выбросив рыжие протуберанцы. Одни поднимаются вверх, другие врастают в горизонт. Солнце теперь похоже на усталую голову рыжебородого человека.

Похоже на Эрика (я видел его фото).

Оно — сам Эрик — легенда этой планеты.

Затем солнце как бы застревает, и долго-долго на горизонте видна его рыжая голова.

И если спешит молодая маганка, то обязательно остановится и пристально, долго смотрит на закат. Так долго, что хочется крикнуть ей: «Да, я согласен, Эрик умел любить. Но он умер, умер... А вот я живой и сижу в этом кафе».

Но уходит маганка, и снова мы втроем — голова Эрика, я и посеребренная роботесса.

Стакан крепкого кофе зажат в моей руке: я люблю разглядывать другие планеты, прихлебывая горячий кофе.

Маг пустынна. А если бы сюда кипение городов? Женщин в их светящихся платьях?

Ресницы их сияют, а глаза черны. Они сразу ставят четкий вопрос:

— Вы космонавт? (Эти ценятся высоко: деловиты, эффектно, храбры.)

— Предположим.

— Почему ты не носишь свой значок? (Первая космическая скорость знакомства.)

— ...Ты... ты такой сильный.

Я пью кофе и думаю: хорошо, что здесь нет городов. Здесь люди деловиты и неспешливы. Вон пролетает в прозрачном вертолетике любитель древней техники. Летит на уровне горы, где стоит кафе.

Машинка старается, крошит воздух красными лопастями. Летун глядит прямо вперед. Закат краснит одну (и только одну) сторону его лица.

Куда, зачем он спешит?

Здесь надо идти пешком и думать не о делах (им нет конца), а об Эрике.

Я пью кофе. Я думаю теперь о фитахе — разгадка его все уходит. Я думаю о когда-то погасшем солнце этой планеты (а ведь горит), о Вивиан Отис и Эрике, их удивительной любви.

Взлаивают собаки, светятся шляпки грибов — равнина покрыта ими. Они будут светиться еще часа два-три, а там и погаснут. На рассвете.

Эрик садится — скрываются его рыжие космы. Испарения поднимаются вверх и прижимаются к стеклам. Шевелится зелень, тянется вверх. Пружинистые

сяжки царапают стекло, тысячи нелепых коготков. Они просятся ко мне.

— Откройся! — командует кто-то.

Окно с шуршанием отходит. Запах ванили, толпа стеблей. В листьях мигают их широкие травяные глаза.

Отчего глаза? Что они видят? Тайна, тайна...

— Ха! Вот он ты!

В окно просовывается голова Гришки Отиса.

Живоросток игриво обвил шею Отиса и зеленым крючком трогал мочку его большого и плоского, как оладья, уха.

И скворчит, скворчит ему что-то.

— Вот ты куда забрался.

Отис дышал тяжело. Рубашка расстегнулась, оголив шею.

— Отщепенец!

Отис влез в окно, оборвав кучу ростков, и сел за мой столик. Он улыбался мне пьяновато и жалко: виноградники здесь отличные, лучшие во всех мирах.

Вдруг схватил мою руку и стал благодарить меня. Я так и не понял, за что.

— Спасибо, — говорил мне Отис. — Спасибо.

— За что? — спросил я и понял: пропал мой одинокий вечер.

Гришка Отис цеплялся за руку и уговаривал:

— Пойдем к нам, не будь таким. Поешь домашнего, вкусного, сытного.

— Не, — говорил я. — Не.

Я представил себе его семейку, его родичей. Занудные, унылые типы, как и он. Их много — человек двадцать дедушек, сто двадцать бабушек, тысячи внуков и собак.

— Пойдем, — ныл Гришка. — Ты мне нужен. Посмотришь, посмотришь.

— Не, — говорил я.

— А сестренка-то у меня Вивиан Отис. Эрикова!.. Понимаешь?..

И он подмигнул. Я словно лбом ударился. Вивиан Отис и Эрик?.. И Гришка Отис, наш бортмеханик? Мать какая-то.

— ...?

Отис мигнул мне. Он сидел и мигал, мигал, мигал. Мне стало казаться, что веко его стучит. Потом он ударил кулаком по столу, шмыгнул носом и сказал:

— Она снова отказала Дромю.

Я молчал.

Вивиан Отис поднялась нам навстречу. Она стояла среди мебели рыжевато-золотистого тона. Я пробормотал имя, но видел одно — среди всего золотистого стояла Вивиан Отис во плоти. Нет, легенды не ввали — с золотыми волосами и с золотыми глазами.

Гришка чуть смахивал на нее, но был блеклый. Так, серебро с процентом золота, целиком пошедшего в бороду.

Вивиан!.. Не может быть! Я видел ее фотографию. Дром держит ее у себя перед носом, роскошный и сентиментальный Дром.

Я жалел, что пошел с Гришкой.

Нельзя соприкоснуться с живой легендой (или живой ее частью) — легенда умирает.

Скажу прямо — Вивиан Отис, ты обманула меня в тот вечер. Ты была подвижно-веселая женщина, ты говорила нам о вкусном ужине и не имела права говорить о нем.

Ты подала мне руку — маленькую, крепко жмущую руку в золотистом пушке, а не должна была давать.

Я не знаю, что ты могла делать, но твердо знал, что было запрещено тебе, Вивиан.

Запрещено обыкновенное.

Ты не смела готовить ужин и тем более есть его.

Нарушения так потрясли меня, что я сел в кресло. И пока оно обнимало меня, мурлыкая на ухо какую-то чепуху, я пытался помириться с тобой, Вивиан Отис, и не мог.

Ты предала меня! За ужином — очень хорошим ужином — я сидел истуканом.

Во-первых, этот тусклый брат. Во-вторых, Вивиан должна быть вечно молода. В-третьих, она должна говорить об Эрике (или молчать совсем), а не болтать как попугай.

Я позволил бы тебе, Вивиан Отис, только разговоры о фитахе. Это соответствовало бы идее Великого Риска.

А тут еще Отис.

— Выкинь из головы Эрика! — заорал он и бросил вилку.

Сестра качала головой.

— Он тебя опутал! — вскрикнул Отис. — Мне противно глядеть на этот склеп! Всюду его хитрые рожи.

Отис нажал на что-то — засветились портреты Эрика. Объемные — они отрывались от золотисто-рыжих стен. И мне подумалось о его долгом счастье. Он вошел в эту женщину навсегда. Она дарила Эрику бессмертие, а он ей — взаимно.

Или она не в силах отказаться, стать иной, уйти от этого имени — Эрик, уйти из легенды?

Вивиан громко засмеялась и стала грозить пальцем Отису:

— Эх ты!

— Выкинь Эрика! Ты не любила его.

Я слушал их, держа на лице улыбку, и думал, что в конце концов мы и живем только в памяти других людей, и умираем там же. Становимся меньше, меньше — и исчезаем. А если легенда?.. Тогда человек растет.

— Уйдем от нее, — сказал мне Отис.

Сестра его смеялась. Она говорила мне, что так шу-

мят они в его прилеты и было скандалов не менее десятка.

— А могла бы иметь мужа и семью! — уныло говорил Отис. — И мне бы нашелся уголок.

Я смотрел в ночь (над равниной поднималось голубое сияние). Во мне рождалось великое любопытство.

Меня не интересовал Дром — он проиграл игру.

Не манила воображение Вивиан: она обжилась в легенде, ей тепло, уютно. Привлекла внимание хитрость Эрика: он победил время и Дрома, этот невзрачный человек.

«Он хитрый», — сказал Отис.

Все было мелким рядом с этой великолепной хитростью. И несчастье Дрома, и бесконечное терпение Вивиан. Эрик перековал несчастье человека нелюбимого в нечто обратное — в счастье сделать новое солнце, в счастье остаться в сердце женщины, предельно красивой в ушедшие годы. Что он сделал для этого?

Я облетал всю планету за ту неделю, что мы отдыхали здесь. Я был в музеях, я говорил с людьми, я узнал все, что мог узнать о времени Великого Риска и Эрике.

Я проследил за Проектом. (Магяне до сих пор говорят: это было до Проекта, а это — после.)

Открыл Маг робот Звездного Дозора. Он приземлился — живая планета!.. Но через две сотни лет первые колонисты застали планету угасающей. Солнце стало багровым, спутник — невидимым. Почву обтянула корка льда.

По планете носились пыльные бури, перегоняя с места на место ледяную пыль. Но кислород имелся, а живомхи еще цепко держались за камни, будто надеясь.

Командир Лаврак удивился неточности сообщения.

Жена его, Магда, тихая женщина, умерла в полете. Я видел в музее ее стереограммы — в ней мягкое, домашнее. По лицу рассыпались веснушки, пухловатые руки говорили о лени, но лоб ее был решителен. Ее видишь с детьми или на кухне, она же была хирургом экспедиции.

У Магды, жены Лаврака, было лицо человека, одержавшего над собой победу.

Планету же стали звать Маг.

Но колонисты были довольны: недра планеты оказались щедры (уран, алмазы, титан, золото, медь). Есть воздух, вода. Под куполами выращивали съедобную зелень (там же коснулись загадки фитаха и увидели мощь жизни в спящих магинских семенах).

И через десять-двадцать или тридцать поколений колонисты сделали бы вторую оболочку над планетой, и Маг окончательно перешла бы в разряд полусинтетических тел. Но солнце остывало.

Солнце гасло, и Всесовет предложил эвакуацию. Были отменены рейсы кораблей в иные секторы. Но, снимая с трасс корабль за кораблем и посылая их на Маг, Всесовет продумывал и иные предложения. Их поступило два.

Проектом номер один был срыв Маг с орбиты и крейсерование ее в другую солнечную систему. Проект номер два был практичнее. Предлагалось, разогнав массу Н до субсветовой скорости, вбить ее в центр солнца, возбудить его активность взрывом этой массы.

Это предлагал Эрик Сельгин — энергетик Мага. Проект был одобрен, но энергии требовалось больше наличного запаса планеты.

А если неудача?

Этот проект называли Проектом Великого Риска. И в истории планеты вдруг появились рыжий Эрик, Вивиан Отис, и сплелись их судьбы в прихотливое кружево легенды.

А третьим лишним стал роскошный Дром.

Беспокойные дни. Я крестил планету своими маршрутами, я бродил в шахтах, бывал на заброшенных заводах. Был в горах, был всюду.

Эрик?.. Обычный пресноватый человек, пожалуй, слишком суровый к себе. С детства он любил Вивиан, и только.

Дром?.. Эффектный, говорливый, блестящий. Ум, энергия! (И его любила Вивиан.) Гришка Отис?.. Так, тень Дрома.

Вот фото (оно лучше других). Отисы, Дром, Эрик. Фигуры их шевелятся, губы двигаются. Я слышу слова — чешую, одевающую этих людей. Словами Эрика прочно скрыт его замысел. А Вивиан?.. Шутки, капризы, легкомыслие. Еще одно фото — она, и рядом, бросающая черную тень, хромает рыжий Эрик. Впереди них шагает рослый Дром, роскошный Дром. Гены негров. Лицо умное, энергичное, темное, сильное. Откуда оно? С равнин Уганды? С берегов озера Виктория? С болот Конго?..

Я спрошу его когда-нибудь.

Они шли — три человека и три их тени. Жизнь их была завязана в крепкий узел, но из троих все знал один Эрик.

Они идут, и один Эрик знает все, что может знать человек.

Знал — солнце зажжется.

Знал — Дром торжествует последние дни. Это знание и кладет на лицо Эрика налет угрюмой хмурости. Но и торжества тоже.

Я прослеживал жизнь этих троих на поверхности и в глубине планеты, на магнитных линзах (они летали вместе с Эриком смотреть их).

Они облетали сооружения. Около каждой линзы, подобно рыбе, спящей в ночной воде, торчала межзвездная гигантская ракета. Светились цепочки иллюмина-

торов, вращались ее антенны. Я вижу крохотные их фигурки среди сплетения алюминиевых и стальных ферм — металл одел идею Эрика.

Ее можно было видеть и трогать.

Эрик... Он улыбается — теперь у него все шансы в руках — он рос вместе с Вивиан, он знал ее. Хорошо.

Или это улыбка инженера, которому приятно видеть механизм?

Цепь магнитных линз для разгонки массы Н поддерживали корабли Звездного Дозора и лайнеры.

Цепь протянулась на нужные миллионы. Масса Н, получив импульс, должна была пролететь в каждую магнитную линзу и брать в ней дополнительную энергию у ракет. Последняя линза уточняла удар. От нее зависел успех, она направляла массу Н в рассчитанную точку. Эта масса пронзит солнце и возродит его.

И вспыхнет солнце, сгорит прицельная — последняя — линза, и кончится работа.

И он, Эрик, хромой и невзрачный, останется один на один против Дрома и Вивиан, как был.

Он знал — счастье впереди, если он будет смелым. Он все решил и все взвесил. Я вижу его озабоченным. На лбу — вертикальная морщина. Еще фото: я вижу его около Вивиан. Он, хмурый и упорный, стоит на снимке рядом с Дромом.

Я пристально смотрю на него.

Лицо Эрика... Оно обычно. (Но видишь и холодок глаз.) Борода заслонила его крепкую нижнюю челюсть — в ней его неукротимость.

Лоб его выпирает вперед. Он рассечен мыслью на два сильных, больших бугра.

Тяжелая, большая голова. А рука?

У него прекрасная, женственная рука ученого в противоположность грубоватому лицу. Оно плосковатое. У всех волевых натур такие лица. У Дрома, например.

Тогда еще Дром был счастливым баловнем жизни.

Последние часы Эрик провел на прицельной линзе. Он никому не доверил ее, даже приборам. Там не было корабля — линза должна была сгореть. Эрик остался один, и его ракетная шлюпка была пришвартована к устройству. В это время его электронный двойник появился на главной станции и врубил ток. Дело было начато и кончено этим — никто на свете не мог остановить движения массы Н.

В этот момент (все было снято) на планете загорелись древние светильники. Их колеблющийся свет искажал человеческие лица.

Вообразите себе черную планету и роботов в шахтах. И людей, застывших в ожидании. (Эрик тоже ждал.)

Я вижу Вивиан Отис и Дрома. (Рядом с ними Гришка Отис.)

Они сидят в черной тени скалы, на них тяжелые одежды. Живомхи тянутся к их теплу.

Отисы молчат и глядят на солнце. Дром не может усидеть на месте. Он поднимается, ходит, топчет ногами, смотрит, из троих он больше всего скучает по солнцу.

Он боится провала, он знает — тогда они уйдут под землю. И потянутся столетия жизни в подземельях.

Ему жаль Эрика, он решает уехать с Вивиан, чтобы Эрику было легче.

А тем временем холодный разум Эрика отсчитывает последние минуты жизни, но сердце его сжигает боль. Все сделано. Он максимально придвинул линзу к солнцу. Приборы замерли в ожидании. Эрик думает о Вивиан, он прощается с ней. Он стоит в рубке, и лазер вспыхивает, и голос Эрика несется к планете. Его слышит Вивиан, слышат все. Даже если бы погибла планета, слова и голос жили бы во вселенной.

Теперь Эрику все равно, что он рыж и хром, — он говорит.

Я вижу его впалые щеки и заострившееся лицо.

Он смотрит в черный фильтр прицела на багровую поверхность солнца с островами холодного шлака...

Нет, Отис ошибся — не было хитрости, было твердое решение отдать всего себя делу. А еще жгучая боль — ведь он любил.

Он сказал, он подарил этой женщине то, о чем они мечтают все, красивые и безобразные, толстые и худые.

...Или все же связаны и лукавство, и его смертная тоска — в неразделимом противоречии правды?..

Эрик говорил, и все слушали его. Но женщины понимали все, а мужчины нет.

Женщины думали: «А стоит ли эта девчонка такого счастья?»

Мужчины: «Он чудит».

Женщины: «Он ходил рядом, я видела его».

Мужчины: «Никто не стоит такой любви».

Женщины: «Он должен жить».

Мужчины: «Сказав такое, надо умереть».

Эрик же смотрит на безмерную плоскость гаснущего солнца. Он видит прохождение газовых вихрей, колебание полужидкой плоскости. Он знает — масса Н близко. И в реве верньерных двигателей, управляя линзой, в последние секунды жизни Эрик уточняет удар массы Н.

Вивиан крикнула: «Стой!», но масса Н врезалась в солнце. Оно всколыхнулось огнем, взяло в себя магнитную линзу (и плоть Эрика). В этот слепящий момент рыжий Эрик стал легендой планеты Маг и бесконечно счастливым. Вивиан это поняла. Отис не понял: он был желторотым курсантом; не понял и Дром.

Но Вивиан увидела будущее. Ей было жаль Дрома, но она ощутила одиночество Эрика и в это мгновение полюбила его.

Так мне казалось, так говорили мне все.

...Я вижу толпы народа: они среди скал, на берегу моря, на ржавых плоскостях равнин.

Одни забрались повыше, осторожные уходят в подземные галереи.

На поверхности оставались Отисы и Дром. Они бы ушли, Гришка Отис и Дром, но Вивиан не трогалась с места. Она смотрит вверх, будто стараясь разглядеть Эрика и магнитную линзу. Но виден только красный круг. По нему раскиданы темные пятна угасания. Они бежали — это показывало быстроту вращения солнечного шара.

— Стой! — крикнула Вивиан.

И вдруг зажглась синяя точка на красном круге. Еще, еще одна. И началось бурное превращение солнца в ослепительный шар, и взметнулись рыжие волосы протуберанцев.

Солнце росло и росло (Дром кричал, что оно сожжет все).

Зной упал на планету. Поднялся водяной пар. Снега таяли, бежали потоки. Пронеслась красная буря, коротко заслонив солнце. Выпал ржавый дождь. Поднялись живомхи. С треском лопались семена, выбрасывая ростки. Море катилось на берег. Валы его гнались за бегущими в гору людьми. С гор стеной шли потоки мутной воды. Смешались жизнь и смерть, становилось голубым небо, поднялась зелень. Солнце яростно грело, наверстывая упущенные столетия. Люди сбрасывали одежду и отдавали себя этому солнцу, сыплющему на все голубой свет. Он лился вниз, как вода, растекался, словно потоки голубого тумана. И, взлетая вверх, пел свою песню фитах.

— Он жжет меня, — сказала Вивиан брату. — Жжет!

Она закрыла глаза ладонями.

Отис обхватил ее, прикрывая собой от солнца.

— Пусти, — сказала Вивиан. — Пусти.

Дром скинул с себя тяжелую одежду. Запрокинул

лицо. Поднял руки. Лицо его исказилось. Он плясал древний танец. Я вижу его запрокинутую голову, вижу голубые отсветы, струящиеся по коже.

Сначала он движется медленно, будто в полусне. Древний танец словно просыпается в нем, чтобы взорваться движением.

...Кончив плясать, он подошел к Вивиан и властно обнял ее. Она была его, была женой. Вечной.

— Пусти, — жалобно сказала Вивиан. — Он смотрит на нас.

— Кто? — Дром оглянулся с угрозой.

— Эрик. Гляди, это солнце... его голова.

— Сумасшедшая! — крикнул ей Отис. — Сумасшедшая!

— Смотрите, протуберанцы — его рыжие волосы!.. Она закричала. Так кончилось счастье Дрома.

Жить вечно?.. Это можно только в сердце других людей. Эта жизнь самая уверенная и беспечальная.

Дром ушел в космос, и Отис с ним. И родилась легенда, и Вивиан, женщина с золотыми волосами, стала одинокой, а Эрик бесконечно живет в ней. Так все и случилось.

Я завидовал долгому счастью Эрика.

Я мечтаю. Она тягучая, как мед, эта мечта: у космонавта должна быть жена, верная женщина — чтобы ждала. Голос ее должен приноситься на радиоволне, и слова ее должны быть золотым металлом.

Но где найдешь ее, если малянки, самые верные, самые нежные, самые привязчивые, забывают умершего, плотно едят, полнеют и говорят, говорят, говорят ерунду.

И имеют унылых братьев.

Космонавт должен быть холост — лет до ста. Так, и не иначе.

Я сидел в кафе. Пришел Отис.

— А-а, вот он где. Ночью уходим, готовься. (В глазах его с видимыми красными жилками что-то стылое. Он брит, подтянут, строг, в костюме.)

Я поманил пальцем — роботесса подошла. Кудри — золотые пружинки. Серебряное улыбающееся лицо.

— Кофе, — велел я.

— Он был страшно хитрый человек. Я имею в виду Эрика. Скажи мне, Дром — мужчина?

— Если судить по...

— Может он составить счастье женщины?

— Я не женщина, но судя по...

— Мог бы! Эрик обошел его на повороте. И эта дура не хочет выходить замуж за Дрома.

— Она пример, — сказал я. (Вивиан начинала мне нравиться.)

— Плевать мне на примеры! Дром был сегодня в тысячный раз. А та бубнит: нет, нет, нет... Эй, кофе!

Я пошел прощаться с Вивиан. Мне хотелось войти в золотую выпуклость ее дома.

Вечерело. Эрик клонился к горизонту. Его борода сминалась о твердую зубчатую линию далекого хребта.

В небо раскаленной точкой ввинчивался очередной фитах, и кто-то долговязый целился в него камерой.

Я подошел к дому Вивиан. Подошел и увидел ее, стоявшую на площадке дома, у вирсоусов, шевелящих свои цветы. Я хотел крикнуть ей, весело и бодро сказать свое «здравствуйте — прощайте», но осекся: Вивиан поднимала руки, тянулась к солнцу.

Она прикрыла глаза, она отдавалась ему и говорила что-то нежное, говорила воркующим голосом.

Я стоял и слушал. Мне не было дано счастья слышать такие слова и такой голос.

Я повернулся и осторожно ушел.

Уходя, я твердил себе слова Эрика, подаренные им

Вивиан: «Вивиан, я люблю тебя. Я вечно буду любить. Я войду в плоть солнца, чтобы светить тебе. Свет мой — любовь к тебе, тепло мое — любовь к тебе, все, что вокруг, — мой подарок тебе.

Смерть моя — во славу тебя».

Я шел и повторял эти слова.

(«Ни одного шанса, он взял все. Проходимец! Хитрец!» — негодовал Гришка Отис.)

«Вивиан была самая любимая в здешнем секторе космоса», — говорили мне женщины.

И они жалели Дрома — тропического Дрома. Расчет?.. Неужели хитрость?.. Быть может, Эрик рассуждал так: мы продолжаем жить после своей смерти и в мыслях, и в сердцах других (и в легенде).

Нет, у него был порыв: любовь, отчаяние.

Откуда-то вынырнул Гришка Отис. Он шел рядом, заглядывая мне в глаза. Походка его была косолапа, а вид подобоострастный. Мы шли по тропе, поднимая легкую пыль. Живорастения цеплялись за ноги своими сяжками. Их свиристение поднималось в небо и нависало над нами, будто прозрачный купол.

— Послушай, — говорил мне Отис, — послушай. Ты бы попробовал поухаживать за ней. А вдруг...

Я же повторял про себя слова Эрика. Их сладкая горечь жгла мое сердце, как кислота.

На горизонте виднелась его голова.



ДРУГ

Идет ночь — чернее цыганского глаза, густая падающим дождем и комарами.

Друзья не спят. Весной еще Нил выцедил из берез достаточно сока и приготовил самоквасом брагу.

Постояв, брага здорово окрепла, годилась на случай какой простудной хвори. А если смочить тряпицу и приложить, будет возможность оттянуть жар от глотки.

А можно и хлебнуть — с радости, что будет жить Ильнеаут, вылечили с Другом охотника!..

Давал Нил зарок, но с радости можно... Что до сих пор, слава богу, жив и здоров!.. И надо помянуть покойного барина, выпить за здоровье солдат. Им, конечно, всыпали по первое число за побег Нила.

И отчего не выпить с Другом?.. Разве мало они помучились в тайге?..

Нил закусил черемшой и лег на расстеленную медвежью шкуру. Ее подарила жена Ильнеаута.

Хороша шкура, спасибо ей!

Он подумал, что кончилась старая его жизнь и рождена новая. Новую жизнь дали Нилу эвены и Друг.

Друг и эвены...

Хотя Нил здорово измазался дегтем (который сам гнал из тощей здешней березовой скорлупы), но остаются местечки. Глаза, уши... Их не смажешь.

Мучает в тайге комар.

— Комары-ы-ы... — рычит Нил. — Казнь египетская...

— Комары-ы-ы! — вторит Друг.

— Тебе-то чаво, — сердится Нил. — У тебя и тела одна видимость.

— Я чувствую тебя.

— Дымарь разведи. Хучь бы зима скорей!..

Нил знает, Другу ничего не стоит развести дымарь: моргнул — и задымились головешки. Но ветер гонит дым обратно, нечем дышать в чуме.

— Погаси, — просит Нил.

Костер гаснет.

— Вывел бы ты комаров, — просит Друга мучающийся Нил.

— О, не могу, есть запрет на вмешивание... Н-начальство!

— Иди ты со своим вмешиванием, — сердится Нил. — Выведи!.. Другом зовешься... Яви еще чудо...

— Не могу-у-у. — подвывает Друг и нервно дергается.

— И то, — соглашается Нил. — Комары — божья тварь, создана, питаться надо. Он допустил, а тут мы... Зима-а-а, где ты?

— Зима-а-а... — стонет Друг, шевелясь за пазухой Нила.

И больше всего хочется Нилу сейчас или заснуть, или без промедления оказаться в селце Быковке, на пасеке. И чтобы пчелы вокруг тебя, и коровы ходили по травам. Рай!.. Сейчас и ягоды и огурцы зреют.

А молока-то, молока... Оленье что, сусло суслой... Ах и хороша Расея, а хода в нее нету. Мука! И Друг мучается с ним. Друг... Звать его мудрено, не выговоришь. Зато добр. Потому Нил зовет Другом.

Одно тело его железное, оно лежит в ящичке, закопано у того железного ведра, которое никаким камнем не прогнешь, сколько ни бей. А сам Друг то вроде дым, то котенок, то черт знает что. Может быть, думает Нил, их два?.. Один спит в ящичке, а другой здесь, с ним мучается его человеческой мукой?

— Комары-ы-ы... — стонет Друг.

— Хоть бы заснуть, — истомно говорит пахнувший дегтем Нил. — Навей сон покрепче.

И Друг тотчас же начинает показывать ему сон. В нем есть шар вроде одуванчика, но это изба для множества нелюдей. Чертей, что ли? Их-то уж бог не делал по своему образу и подобию. Но Друг один из них, а так добр, так добр. Куда добрее быковского священника, отца Игнатия.

Нил засыпает. Он видит странные сны, в которые не верит. Даже во сне. А Друг склоняется над ним, тарашится и навевает их, навевает. Даже светится. Комары, пища, летят к его свету.

Затем друг Нила размышляет о своей планете, о катастрофе своего корабля, о том, что еще узнал (и запомнил) сегодня.

Он сравнил различные методы лечения — своего, таежного, ниловского... Он запомнил предание о Вороне и разобрался в очень усложненных родственных отношениях эвенов. Тайно.

...Что еще он сегодня сделал, что успел?.. Мыл друзей-эвенов. Сами не захотели, так он ливень нагнал, все равно помытые.

Что еще было?.. Лечили охотника вдвоем. Нил плясал обрядовый танец, а он починял Ильнеаута, хорошо починил.

Затем Нил пил то, что зовется бурдой.

— Бу-урда... За-ачем?.. — спрашивал он Нила.

— Жив, жив будет охотничек, — радовался Нил. — Пей и ты!.. Друг... Барина помянем, солда-тушек...

— Бу-урда...

— Пчелы какие были! Здесь и шмель в диковину.

Попали они в тайгу разными путями, но в одно время. Пасечник Нил Кротов (он же знахарь) отравил барина. Выпив, он дал барину Кириллу Нефедычу настой блекоты, которой пользовал Манеиху от трясучки. (Барина он лечил зверобоем, его хоть ковшом пей. А блекоту полагалось считать каплями.)

Когда Нил проспался и восстановил привычно хитроватое выражение скуластого лица, он вспомнил и побежал. Шибко!

Ох, как бежал, а ноги плохо слушались его... Он ворвался на барский двор, к окнам, что были величиной с его ворота.

Нил кричал:

— погоди!.. Годи!.. Нельзя пить!

Будь Нил в себе, орать бы не стал. И уж конечно, не дал бы барину проклятый настой.

Он бежал и кричал: барин же кончался, карачун его брал... Понятно, Нила сгресли и под суд... И правильно, за дело — не лечи пьяным. А дело такое — хорошо задалась медовуха, и пили ее с кумом. Затем кум сбегал за штофом, соблазнил, и вот...

На суде Нил говорил чистую правду про медовуху и штоф и очень верно указал, что дворецкому Мишке не следовало брать настой, коли он вынес его в черпаке.

Дали каторгу. Нил не обиделся, надо так надо!..

...Гнали этапом. Сначала он шел окованным в железки, это было тяжело и больно. Все ноги посбивал. Потом он лечил зубы конвойного офицера Макарина, за что его повезли в телеге. Он и стал всех лечить от болей — той же блекотой. Закуривал ее в чайничке и давал сосать дым из носика. Помогало. С него и кандалы сняли, чтобы по пути травки собирал. И тогда

Нил рванул в лес. Благо, ноги поджили, а солдат зазевался.

Нил ушел в тайгу. Глушь!.. Была осень, подошли они уже к реке Лене. Дремучая страна!.. Бежал Нил с молитвой, кормясь тем, что добыл. А что добудешь голыми руками?.. Сильно голодал, обеспамятел Нил. Очнулся — рядом сидит Друг. Он жжет костер. Далее пошли вместе, понес он Друга за пазухой. Зимовали они в берлоге, а весной нашли их дикие тунгусы — эвены, так они себя звали и уверяли, что их предки — собаки.

Нил с Другом остался у них... Нил жил открыто, а вот Друг тайлся, чтобы не пугать.

Патрульный корабль столкнулся со сгустком антиматерии, спасся один Сваритакаксис. Увидел: вспыхнул их ан летящий впереди. Но слишком, слишком близко! А сколько он спорил и доказывал омандо, что он должен быть отдален. Не послушался... И только он, сидевший под смешки весь путь в аварийной капсуле, был выброшен из корабля. Его удача...

Аварийная капсула спасла. К добру?.. К худу?.. И началось скитание — он попал в плен притяжения солнца, желтого карлика, и летел от одной его планеты к другой, пока не нашел живую. Эту! Затем понадобилась кое-какая перестройка сенсорных механизмов и даже белковых систем. Это время он провел в капсуле. А когда вышел, то вдохнул здешний легкий воздух и подвигал руками, вытягивая их от удовлетворения, так ему здесь понравилось.

Настоящая, живая планета, бушевание биосил... Но мучило одиночество. А тут он вскоре встретил Нила. Кто знает, как бы прошла их встреча. Быть может, Нил бы перепугался до смерти и напал, и тогда Сваритакаксис пустил бы в ход анопакс в нарушение инструкций.

Но человек полз и стонал. Друг, бредя тайгой, встретил Нила, обогрел его. Ополоумевший от радости Нил предложил жить вместе. Он все говорил: Друг, Друг...

Сваритакаксис лечил Нила... Когда Нил однажды проснулся с все еще болевшей, но ясной головой, то увидел Друга.

(А вся дорога представилась ему тяжелым сном, в котором и ногами сучишь, и орешь благим матом.)

Спал Нил крепко, но проснулся и поднял хитрое и скуластое свое лицо. Перед ним стояла тварь из сна. И посему Нил решил, что ему снится.

Но нет сна, а лес, снег и это... («Друг... Друг...» — билось в голове Нила).

— Ты кто? — спросил ошалелый Нил.

Существо ответило птичьим языком:

— Свири... сис...

— С нами крестная сила! — троеперстно осенил себя Нил.

Ничто не изменилось — странная тварь на него поглядывала. Нил потянулся к палке — ударить — и не мог взять ее, так был слаб.

— За грехи мои, — застонал он: тварь одновременно походила и на зеленую лягу, и на бабье любезное ситечко с дырочками. Была она в пояске с какими-то блестящими штучками.

— Ты черт? — спросил он.

— Не-ет, Ни-ил, — по-человечески ответила она. — Я Друг...

Нил облизнул губы. Что бы такое сделать?.. Проверить?..

— Перекрестись! — велел он.

— Ка-ак?

— А так, — ответил Нил, крестясь в убеждении, что обвел черта, который станет неопасным.

Существо повторило жест Нила всеми лапами и осталось как было. Значит, это не черт, а дивная божья тварь, говорящая по-русски.

— Дру-уг, помога-ай, — говорило Нилу существо. И точно, помогает: рядом, на костре, в прозрачном горшке, варится птичье мясо. А рядом другая посуда, и в ней преет то, что слаще сладкого, — каша из саран. Значит, тварь человечесий смысл имеет. А ежели разбираться, то все едино дышат на свете.

— Дру-уг, — сказала тварь. — Я-а-а...

— Друг, — отвечал Нил, испытывая странное блаженство.

И зиму они прожили вместе — Нил ходил охотиться с Другом. Тот прямо из-за пазухи стрелял зверей. Огнем. Перезимовали в берлоге, а весной их нашли тунгусы.

Нил перепугался — дикий народ! Набежал верхом на оленях, рогов полно, лес...

А еще у них ножи на деревянных предлинных ручках, и луки, и копья. Словом, вояки. Собаки их сердитые, да и сами хороши, чуть поссорятся, тотчас давай стрелять из луков. Вроде барина, которого по милости Нила карачун взял. Тот стрелялся из пистолетов с соседом, страшнее. Но и стрела в пузо очень нехорошо. Стрела... Все здесь чудно для русского человека!

Житие этих людей странное — кожаные чумы, скитания, едят сырую рыбу, младенцев возят в корчажках, присыпав тертыми гнилушками. И сосать им дают не жвачку в тряпочке, а кусок сырого мяса.

Но прошел страх, понравились Нилу лесные люди. Зовутся эвены, уважают собак. Правильные люди, старики слушают. И одежда хорошая, меховая. Легкая и удобная в тепло и мороз. А свыкнешься, то и рыба сырая, если мороженая, вкусом коровье мясо напоминает.

Привык Нил, ел и сырое и сушеное мясо.

Ел лесные саранки и ягоды, грибы, что растут здесь, чистые, ровно детки, без единого червяка. Эвены их

есть не желают. Друг — тоже. Нил варил их себе одному.

Но что за еда в одиночестве?.. Без соли?..

Не будь Друга, сошелся бы Нил с шаманом. Очень был умственный мужик. К Нилу ходил, о травках лекарственных разговаривал. Но действовал он больше камланием — страхом вышибал хвори!

Нил посмеивался: не так, не так надо. Но и завидовал: работы пустяк, а платят хорошо, оленей, шкуры дают.

Да и лечить хотелось Нилу, привык... Об этом говорил с Другом. И — помогло несчастье. Шаман, леча девуцу, полез в дымовую отдушину изображать злого духа и упал оттуда. Он сломал ноги и отшиб печенку. Нил лечил его, и шаман, помирая, велел старикам считать Нила шаманом.

Друг тоже нашептывал.

Теперь колотил в бубен и плясал Нил, после давал пить хворым травяные настои. Когда эвены потребовали полетов Нила за духами и лазанья в дымоход, Нил поговорил с Другом. И теперь Нил бил в бубен, а плясал и головы задуривал Друг.

Появились олени, тридцать, пришлось принять на себя грех, женился — хозяйство! Взял старуху, чтобы все умела. Но сам жил с Другом в отдельном чуме.

Совсем хорошая жизнь, кабы не комары. Стойбище росло, ребятишки были здоровые.

От такой удачной жизни надо бы с Другом петь песни. (Друг умный, он быстро научится петь.) Но и горевал Нил: шаманство — бесовское действо!

Отказаться?.. Но шаман его просил — пляши!.. И правда, отчего не сплясать, ежели добрые люди требуют? Но это дело обманное... А почему и не обмануть человека, если ему этого хочется?.. Друг утверждал, что так всем будет лучше.

Шаман... Сам он верил и не верил в бубен. Спросил его как-то Нил, а тот отвечал ему так:

— Мы не верим, мы боимся.

— Чего?

-- Тайгу боимся, амикана (медведя), плохих людей.

Понятно. Как не бояться: тайга!.. Страшновато, хотя и не каторга. А если разобраться, то вообще жить временами не худо — еда имеется, Друг есть. И какой!

Учился Нил выть и в бубен бить. Друг во вкус вошел — летал, плясал, даже чудеса творил. Так, по малости: то зуб кому из железа поставит, то стекло в глаз сунет — и все видно.

Дело пошло. Нилу сделали парку из соболя, упряжь бисером расшили. Но главное — удалось построить передвижную баньку. Друг придумал сделать ее разборной. Воду грели в корчаге. Нил мылся и даже парился.

И все же страшное это камланье, особенно последнее. Чум большой, в нем очаг и все, что положено. Урке, вход.

И дымоход широкий, будто окно. Принесли больного Ильеаута, что в воду зимой угодил. Теперь он чах, один скелет остался. А хороший охотник. И хотя не страшно за жену и детей: их сообща прокормят, но все равно жаль охотника. Жинка ему иглой грудь вышивала — лечила, — брусники давала. Не помогло, травы тоже не помогли.

Нил к нему приходил и спрашивал, что и где болит. Друг велел ухом слушать — и Нил слушал: хрипела грудь. Чахотка!

Надо плясать.

Собрался весь род — сидят ветхие старики, лежит хворый. Дрожит, ему страшно.

Что же, от хорошего камланья, бывает, и помирают люди — у шамана случалось. И бьет в бубен Нил, страшно Друг пляшет. Будто огонь!

Нил в тугой бубен колотит, скачет. Друг пускает то искры, то дым. То обернется медведем, то сажей мажет всех подряд.

Здорово работали оба. Только знает Нил: здесь

камлание и травы не годятся, надежда в другом: вскакивает Друг прямо в больного, в нем исчезает, начинает болезнь вытягивать. Невозможно понять как, но вытягивает. Из него вот простуду вытянул. Большое это чудо (было и другое).

Нил притворяется, что Друг — это Злой Дух. Теперь он Друга будет выгонять. Час бьет в бубен, второй, третий... Больной глаза закатил, а в нем Друг ходит и лечит, ходит и лечит.

Третий час... Нил совсем обессилел, дыханье заходится. Наконец выходит Друг, а с ним болезнь. Хотя человек еще этого не знает. Друг очень усталый. Вылетая, он дает круг, пускает дым — и фьюить в дымоход. Нет Друга!.. Исчез Злой Дух!.. «А вдруг совсем?» — пугается Нил.

Но Друг ждет в чуме. Оба они устали.

— Выздоровеет? — спрашивает Нил, и Друг отвечает, что в этом уверен. — Жить будет? — суматошится Нил.

— Бу-удет... бу-удет... — уверяет Друг.

— Верно говоришь?

Другу надо верить, он может явить чудо. Это и смущает Нила, и пугает немного. А чудо уже было, являл его Друг, все его видели. И не зря есть большой кусок тайги, куда эвены ни ногой. А почему?.. Шибко непонятное место, говорят они. Духи бродят, мол, а понять, добрые они или злые, невозможно.

Так было — их совсем недавно приняли к себе эвены. Совсем рядом с ними аргишили хукочары, что порусски означает «топорики». Почему? Да выменяли у купца много топориков, а их бойцы-сонинги ими дрались научились.

Сонинг, он такой, с детства к вооруженной драке приучен, с ним лучше не связываться. А тут еще род хукочаров сердитый, да помер у них кто-то быстрой смертью. И выходит, его убили наговором, так порешили хукочарские старики.

Нил как раз бродил около реки и закидывал удочку с костяным крючком. Он уже надергал бойких рыб, ранее им невиданных. И тут послышались крики.

Нил, открыв рот, увидел — из леса на берег вывалило множество оленей, а на них сонинги с луками и копьями. Иные, топориками размахивая, кричат.

И все нарядные, будто на праздник вывалили. А князец их аж подпрыгивает на своем учуге, Нилову стойбищу кулаком грозит. (До него рукой подать, только брод отыскать.)

— Ну, быть беде, — прошептал Нил. Он пересчитал хукочаров — тех было вдвое больше, и Нил поправился: — Быть великой беде...

Вот уже и стрелы полегают с берега на берег.

Быть великой крови! И сердце Нила, пчеловода и лекаря, екнуло. Он побежал к чуму, как летел к барину.

— Беда-а... беда-а-а... Друг, помоги!

Нил влетел в свой чум. Увидел: Друг, очень недовольный, раскачивается в берестяной коробочке. Подвесил ее и качается. Он отказался вмешиваться. Нил просил его, на колени становился (а как орали хукочары, отыскавшие наконец брод...). Тогда Нил схватил валявшийся шестик и хотел бежать с ним.

— Разниму!

Тут Друг и швырнул какую-то блестящую штучку, нажал и бросил. Все затряслось вокруг. Нил упал и пополз к выходу. Теперь дрожал и пел сам воздух, будто громаднейший рой пчел ревел.

Нил вышел — и обомлел, Друг их накрыл радужной какой-то штучкой. Накрыл сверху, как барин накрывал какие-то особенные часы. Это, должно быть, был какой-то особенный сорт крепкого стекла. Оно разгородило враждебных сонингов (а заодно и оленей). Хукочары уже побежали на оленях, лишь князь их в ярости бился в радужную стенку, махал топориком — хотел в стойбище, сердешный...

Но опомнился и бросился наутек, крича непонятное. Ниловы же эвены попрятались в чумы и даже костры свои погасили. И остался Нил, несчастные олени с той стороны да лающие собаки. А ночью колпак исчез неизвестно куда.

...Хорошо поработали. Друг Нила лезет ему за пазуху. Нилу приятно.

— Комары, комары... — шепчет Друг.

— Спи, спи, — говорит ему Нил. И сам мечтает вслух, будто барин его, Кирилл Нефедович, совсем не умер и Нилу можно возвращаться на пасеку.

И он берет Друга, идет с ним в Россию, бросив дьявольские радения. И там они вместе живут на пасеке, ухаживают за пчелами, варят травяные настои! Хорошо! Друг рад.

...Вечерами они сидят за столом, у жбана самой легкой медовухи. Он пьет из ковша, а приучившийся Друг лаяет из плошки. И они разговаривают о том, о сем...

Друг подает ему хорошие советы.

...Хорошо — бабы принесли дикие утиные яйца, зеленые, а в берестяном теске — олень густое молоко.

А, черт!.. Куриные яйца...

И когда стемнеет, Друг станет показывать ему чудную землю, где такие, как он, живут и прыгают.

Он познакомит Друга со старым барином, ставшим вполне хорошим человеком, когда состарился и оставил деревенских девок в покое.

...Перед сном Нил выходит, вдыхает воздух, определяет погоду завтрашнего дня по миганью звезд. Спят в ульях пчелы, пахнет травами и липой, гудят хрущи, летая туда и сюда.

Поют девки, а парни играют на гармонике. Все это разносится, разносится... Хорошо так жить!

Ах, Расея, Расея, чудесная ты сторона...

...Другу тоже не спится. Он лежит за пазухой Нила и, хотя ему жарко, старается не шевелиться.

Он слушает, как стучит сердце Нила, и думает о том, что придет спасательный корабль. За ним. До того времени осталось тридцать здешних лет. С комарами, мошками... Но улетать не хочется. Затем видится Другу его планета.

От выставленных солнечных приемников похожа она на шар того цветка, который Нил зовет одуванчиком.

Друг раздумывает о Ниле, ему жалко покидать его. Но за тридцать земных кругов многое может случиться. И с Нилом... Ему будет одиноко тогда.

Нила следует беречь.

... — Комары, комары, — шепчет Друг.

Нил отвечает ему:

— Спи, спи...



НЕЧТО

Все мое удовольствие — письма друзей. Читая их добрые слова, я шмыгаю носом и тру глаза кулаком: от слабости стал слезлив. А вот письма Каплина относятся к другому рода удовольствиям.

Они будоражат меня.

Я проклинаю все — сердце, постель, окаменевшую от долгого лежания поясницу.

И злюсь на себя, на врачей. Мне хочется шуметь, ругаться, писать жалобы и бить в стену кулаком.

Пора, давно пора уметь заставлять сердце работать! И что за дурацкая конструкция? Одно сердце на объемистый механизм тела...

Устав негодовать, я смиряюсь. Вместе со злостью исчезает воздух: мне тяжело и душно, больно... Тогда я зову дежурного врача, сестру Зиночку, уколы, кислородную подушку лягушачьего цвета. Умиряя подступающую боль, я жмурю глаза и затаиваюсь.

Я боюсь, смертельно боюсь. Эти боли... Они ужасны, и с ними приходят Воспоминания.

Кстати, сколько человек было в экспедиции Птака? Забыл. Я теперь забываю все — какая-то заслонка вдвигается в мозг, тяжелая и черная. Она отсекает то, что знает, должен знать и помнить мой мозг. А ведь была мощная память...

Сколько же их было?.. Нужно спросить.

Экспедиция Птака странно исчезла. Вообразите, лежат два десятка пустых скафандров. Я бывал у моря, так вот они лежали в кратере, словно пустые панцири крабов.

А тел в них нет!.. Чертовщина какая-то!..

Мы искали, обшарили вулкан. Он был старый, давно утихомирившийся разбойник. Лет пятьсот или тысячу назад он выдавил из себя лаву и затих.

...Лезть даже в холодный кратер неприятно.

Но мы снова полезли — вдвоем с Каплиным. Закрепили конец шнура и, разматывая его, медленно пошли.

В жерле чернота обрубил наружный свет. Мы включили фонари, и желтые лучи заскользили по оплавленным стенам. Свет фонарей ложился пятнами, то расплывался кольцами, в середине которых чернел ход.

Загорались, преломляя свет, стекловидные наплывы и тут же гасли. Отбрасываемый ими свет был пыльно-желтого, голубого оттенка.

Лезть по извилисто-узким ходам было страшновато. Казалось, пробираешься чудовищно огромным пищеварительным трактом, внутренними органами некоего титана.

Миновав пищевод, мы с Каплиным попали в желудок, в десятиметровый зал с крючковатым изгибом. Затем пошли ходы, узкие и запутанные, словно петли кишечника.

Были тупики, формой напоминавшие аппендикс. Во всяком случае, таким я его представляю себе.

Идешь, а свет бежит впереди тебя. Опоясывая округлый проход, он катится по остекленевшему камню. Оттого кажется, что это все пульсирует, сокращается, движется.

Словом, живет...

Юморист Каплин немедленно высказал такое предположение: Земля-де — организм, а вулканические кратеры — его естественные отверстия: поры, носы, уши и прочее в зависимости от их формы и размеров.

— Организм... организм... — твердил Каплин, радуясь чему-то.

— У этого организма высокая температура, — сказал я, взглянув на наручный термометр.

И точно, с каждым пройденным нами метром жара усиливалась в этом «остывшем» кратере. Теперь мы уже слышали подземные звуки: доносилось глухое клеткотанье лавы. Иногда оно затихало, и тогда что-то шуршало, двигалось, сопело, будто тесто, шевелящееся в квашне.

Что значило — вулкан только дремал. Вернуться бы... Каплин встревожился.

— Они здесь не были, — говорил он. — Скафандры наверху.

— Пошарим здесь, — настаивал я.

И снова миганье света, клеткот, шорохи, вздохи и ощущение, что ты вошел во что-то огромное и живое, притворившееся окаменевшим, чтобы ты вошел. Думалось, удастся ли выйти, в то же время хотелось идти и смотреть...

В глубине появились багровые отсветы. Они колебались.

Клеткот усилился, послышались несильные хлопки и чавкающие звуки.

Лава варилась.

Я был чуть жив от усталости. Заболел левый бок, и дышалось трудно. В висках стучало — в ритм ударов пульса.

Каплин тоже устал.

— Баста! Я выдохся!

И прилег. Я кое-как присел рядом с ним и вытянул ноги. И тогда лишь мне удалось привалиться спиной к стенке, так связывал меня скафандр.

Я сказал: «Уф-ф...» Пожалел, что упрямо шел сюда. Каплин прав, не могли сюда прийти люди, и нам тоже не следовало приходиться. Впрочем, нам практически ничего не грозит.

Каплин по обыкновению говорил, но я не слушал его, задумавшись о Федосеиче. Он шел с Птаком сюда и тоже исчез, мой милый добрый Федосеич. И без него мне смутно, и скучно, и нечем заполнить вечера. Остается только размышление, и моя голова теперь совсем не отдыхает, а сердце в вечной тревоге. Если я упрямо лез сюда, то из-за Федосеича...

А Каплин трещал, что в других мирах будет нам пожива, что на Земле нет не постигнутых нами форм жизни, в чем был прав.

Я вежливо, но совершенно автоматически поддакивал ему, должно быть, потому, что Каплин нравится мне. С ним весело, он нескладный и долговязый даже в мыслях и бесконечных предположениях.

Я редко видел такого вот человека, к которому предположения и проблемы липли так охотно. Ум Каплина напоминает мне суконные брюки после прогулки по дикому полю в сентябре или октябре.

Столько вцепится в шершавую ткань всякого рода чертиков, собачек и репьев!

И меня удивляет, что он бывает способным к четкому мышлению, таким мне представляется замусоренным его ум.

А может, это просто форма его умственного отдыха.

Я, отдыхая, дремлю — Каплин болтает о рождении звезд и цивилизации осьминогов, спрашивая, почему бы ей не возникнуть в море... Задремал я, помнится, где-то на Юпитере.

Каплин вдруг стал огромным, а я маленьким и круглым, будто голова красного голландского сыра.

Став голландским сыром, я покатился куда-то вниз и катился долго и приятно. Затем пришел крепкий сон. Но сказать то же о своем пробуждении я не могу: оно было неприятным и даже болезненным.

Во-первых, проснулся я внезапно, дернувшись, и ударился о стеклышко шлема, клюнув в него носом. И второе — мне было жутко. Так себя чувствуешь где-нибудь в лесу, если ночь глухая и беззвездная.

Я стал искать причины страха.

Светилось жерло кратера, по-прежнему кипела лава, тени лежали на полу вперемежку с полосами красного и желтого (от фонарей) света.

Тени... Они шевелятся, движутся, живут. В этом нет ничего особенного, это оптический обман, скольжение света по наплывам. Пора было и возвращаться — отдохнул недурно. Я потянулся, зевнул.

— Пора, — сказал я.

— Тише. Что это? — прошипел в телефон Каплин. Он тянул палец, указывая.

Я медленно повернул голову (заело в сочленении скафандра, но хрустнуло и отпустило) и увидел клок тени. Он оторвался от камней и плыл, держась центра, медленно плыл к нам.

— Вот так груздь, — пробормотал я и замер — другая тень, разрастаясь, двигалась на меня.

Я не дышал и не отрывал глаз от движущегося. Вот колышется метрах в трех, вот, надвинувшись, загородило красноватые отсветы и засветилось само.

Я вскрикнул: прозрачно-черное Нечто проплыло надо мной и затерялось среди других вполне нормальных теней.

Я вцепился в жесткую руку Каплина: надвинулись еще тени. Они замелькали между оплавленных камней, то плыли дымными клочьями, то походили на силуэты человека, на что угодно.

Вот летит птица, плывет крокодил, кошка... Прошел согнутый годами старик.

Но основная их форма шарообразна.

Кто они, эти призраки?.. Черные, зыбкие, неясные?..

(Черные призраки — тогда же я нашел им название.)

Одни призраки на лету исчезали, другие припадали к камням. Оторвавшись, они вновь занимали место в строю и летели, летели...

Что это?.. Намек?.. Игра?..

Тени замкнули нас в свой круг, они близятся, они близятся, они рядом. Скафандр мой повышенной защиты, но странные токи пронзали его.

Истома охватывала меня, голова кружилась... Но сколько их?.. Раз, два, три... Ударил подземный гром, заклекотала лава. Тени рванулись от нас. Они скрывались одна за другой в конце жерла, они уходили в лаву.

А там, в багровых отсветах, ворочалось, и булькало, и ворчало нечто темное и многоногое.

Около нас же оставалась лишь одна тень, один Черный Призрак — небольшой и бойко-игривый. Я рассматривал его. Мне показалось... Нет, я совершенно явно заметил упорядоченное движение его субстанции. Я увидел... Мне показалось — в нем сливались потоки, будто в спиральной звездной туманности. И отчего-то я понял, что субстанция его есть Черный Огонь. Он и входил в меня, он жег грудь.

Никто не видел Черного Огня.

— Вот я его сейчас, — пробормотал я, поднимаясь. — Схвачу, дай мне пластиковый мешок.

— Не нужно, — хрипел в наушниках Каплин. — Не надо.

Он стиснул руками свой шлем и качал головой: не надо, не надо, не надо!..

Оно рядом. Я схватил, я поймал Нечто. Схватив, крикнул:

— Ага, попался!

И тотчас же подумал: «Что я наделал?.. Кто попался?..»

Я держал Нечто. Оно было совсем небольшое, с подушку величиной, а на ощупь — пушистая кошка.

Но это странно, ведь мои руки в металлических перчатках. Они же чувствовали, ощущали пушистость, ласковую, сладкую, необъяснимую.

Нечто сплющилось и растекалось по мне. Оно, клубясь, обволакивало грудь и шею.

Жгучей лаской было это прикосновение. Она была сильна и пронзительна. Дыхание мое пресеклось, и сердце остановилось. Я ощутил абсолютный покой и беззвучность в груди.

Не билось сердце, его не было совсем.

Ничего нет, только чернота...

Вдруг голос. Кто это вопит?

— Пошло! Пошло! Пошло! — кричал голос. Кто-то сильный бил меня по рукам и плечам. «Каплин, чудака Каплин, — вспомнил я. — Зачем? Мне хорошо, мозг растет... я разда.: разда.:»

...Каплин вынес меня.

Бедняга! Во мне девяносто кило, да еще скафандр. А там вездеход, тряска по камням, местная больница... Меня оживили («реанимировали», — говорит Каплин), но я полутруп. Боли, удушье — мое дело дрянь. И не одно сердце виновато, аллопаты из кожи лезут, ставя диагноз.

Впрочем, это ерунда, это малоинтересно. А вот Черные Призраки. Кто они?

Милейший Каплин бог знает что написал в последнем письме. Боюсь я за него, Каплин все же не работник науки, а чудака, говорун, фантазер. Вот что он пишет:

«Я не верю, что человек последнее и высшее созда-

ние природы» (всегда такой — вечно горячится).

«Человек плохо приспособлен к окружающему. Сколько усилий рук и мозга требуется, чтобы просто жить. Но если бы мы могли все нужное усваивать прямо из окружающей среды. Наши органы пищеварения громоздки, энергоемки, нежны. А их болезни?..

Вообразите, мы получаем азот прямо из воздуха, минеральные вещества не из растения, а прямо из минералов. Какая экономия усилий!»

Ерунда! Отсутствие борьбы — гибель. Тогда бы не было того, что я уважаю в себе и других, — мозга, способности мыслить.

«Черные Призраки и есть такие существа, — пишет мой фантазер. — Миллион лет особо направленной эволюции выработали в мире, где нет кислорода, иные, малоосязаемые формы жизни, существа, усваивающие все нужное прямо из окружающей среды. Природа стремится к экономии усилий, и это достигнуто Черными Призраками.

И знайте, почти невидимыми (быть может, и совсем невидимыми) существами полно все». Затем следует очень трезвый призыв и математический расчет:

«Вспомните исчезновение экспедиции Птака. Погибло двадцать три человека. Призраков было столько же».

Уже и выводы — скоропалительные, лишённые основы. Ученый должен быть серьезнее. Вот цифры — это совсем иное дело. Двадцать три призрака — и двадцать три человека (среди них Федосеич).

Над этим стоит подумать. Итак, что мы знаем?.. Я знаю?..

Я знаю только одно — тогда, в подземных галереях, прделанных лавой, мы, двое, одновременно (это очень, очень важно) видели нечто полупрозрачное, малоосязаемое, пронизанное непонятно сильными токами. Я не знаю, одно ли это существо или скопление множества существ, земное оно или занесено из космоса.

Не знаю, где стояли мы с Каплиным?.. На пороге открытия?..

Нет, знаю! Это не самовнушение: я видел и осязал. Я должен, должен быть там и снова все увидеть. Я хочу этого! Хочу! Хочу! Входит Зиночка.

— Как чувствуете себя, папаша? — спрашивает она.

— Лучше всех, — бодрюсь я.

Зиночка — девушка очень румяная и веселая. Она в пахнущем свежестью халатике. Ей бы в театр, на бал, а она нянчит меня, а я стыжусь ее. Вот и сейчас.

Зиночка бесцеремонно ворочает меня с бока на бок, трет спиртом кожу, меняет простыни, взбивает подушку.

Потом вооружается шприцем и начинает лекарствами мое тело.

...Хорошо бы не зависеть от него, от больного сердца, как Черные Призраки. Мне хочется быть там, в кратере. Тем более что я вижу его — из окна — вулканическую гору и лагерь вулканологов.

Интереснейшая цифра — двадцать три!..

Но что это, что я вижу! Мне кивает, меня зовет Федосеич, тихоня Федосеич, милый, славный человек.

Иду, иду...

«Ужас! Просто страшно! Это случилось в час инъекций. Профессор бредил и говорил непонятное. При этом быстро чернел и стал совсем как головешка. Я почему-то решила дать ему нашатырный спирт. А как же! Когда я вбежала с пузырьком обратно, в комнате был черный дым. Он вылезал в форточку. Кто? Профессор?.. Может быть...»

Ничего, ничего я не поняла, только испугалась: профессора в палате не было. Тогда я так закричала, что прибежала Нина Трофимовна» (из рассказа медсестры Зины Караваевой),



НА ДАЛЕКОЙ ПЛАНЕТЕ

Крик пронесся — тревожный. Он не оставил эха, укатился без него по этой сумасшедшей, на другие непохожей планете.

Эхо... Где оно?.. Старик склонил голову набок. Лицо его, сморщенное и бородатое, держало на себе гримасу напряженного вслушиванья, которое бывает у глухих людей, позабывших дома слуховой аппарат.

Старик был очень старый, и память его путалась. Потому и казался ему голос то знакомым, то чужим. Голос крикнул:

— Я жду-у-у...

И это последнее воющее «у-у-у...» прозвучало тоскливо и особенно протяжно. А вот первые три звука голоса шептал совсем тихо. Зато последний, начавшись с шепота, вырос, будто голос запускаемого ракетного двигателя.

Он оглушил его. Но... старик не был уверен, что слышал хоть что-нибудь, такая уж это была планета.

Старик был высокий и очень худой, с опустившимися плечами и повисшими руками. Борода его выросла за последние дни, высохшие губы запали — он не носил зубов, а держал их в кармане.

Такой это был глубокий старик, что могло удивить, как он оказался на одинокой и пустой, совсем безлюдной планете.

Здесь и службы спасения не было.

На старике был синий легкий комбинезон, его шляпу и вещи, палатку и надувное кресло нес многолапый робот-паук.

Он навьючил все на выпуклую спину.

Старик остановился. Он стоял долго и хмуρο ждал голос с бесконечным терпением глубоких стариков.

Остановился и робот...

Старик хотел услышать голос снова. Хотя молодое любопытство, что жгло его раньше и гоняло по планетам, покинуло старика. Он ждал, и глаза его спокойно щурились на все, что было, летало и росло вокруг.

Да, Андронников Иван был прав, другой такой планеты не увидишь и во сне. А... хорошая планета. Здесь тихо и солнечно, тепло, да не жарко. Сколько он видел разных солнц и солнечных дней, но не таких, нет. Здесь все было странным и непохожим.

Вот, скажем, этот солнечный свет.

Он голубой, но разбитый на крупинки. Это световой песок! Он щедро сеялся вниз.

Светящиеся голубые пылинки лились вниз водопадом, они плескались на деревьях и стекали вниз по столам. А если подставить руку, то текут и по ней.

Так делают вода, волны, потоки, но чтобы свет...

Он щедро облеплял все.

Казалось, он потопит все — а неуловимо рассеивался теплом.

Облепляя, он согревал и эти странно чужие деревья, и фитавов. А затем исчезал, не оставляя тени.

Такой милый свет. Старик подставил горсть — и она

наполнилась светом, и вот он сыпался вниз, оставляя в ладони горячее тепло.

Что ж, значит, так и надо. Старик, потирая ладонь о ладонь, смотрел, как свет сыплется на шляпы до ночи спящих грибов. Иван говорил, будто ночью они просыпаются и шляются повсюду. Ну, если им нравится, он не возражает. Стерпели бы они его здесь, потому что больше нигде ему быть не хочется.

Только здесь.

Он дал слово промолчать о планете, а рассказал. «Почему ты рассказал о ней?» — спросит его Андронников. Если встретится.

А как бы иначе он попал сюда? И пусть узнают о ней все старики.

Надо было говорить?.. Старик задумался, почему ее засекретил Всесвет. Он думал, а глаза его щурились и наблюдали. Он видел, что из-за сыпучести света здесь почти нет теней. Раньше он просто отмечал: «Нет теней...» Теперь он думал, это хорошо, что свет добрый и не слишком горячий, иначе он бы сжег планету, этот свет.

Солнечный дождь сыпался на землю, на шляпы грибов, которые ходят. Старик наклонился и увидел их корневые ноги, острыми и длинными пальцами впивавшиеся в землю. Он рассматривал белые ниточки временных корней, что сосали жирную землю.

Грибы эти говорят? Хорошо, если бы говорили, все стало бы ясно.

Ведь, кроме них, еще спящих, никто не мог крикнуть так громко и страшно. Но откуда они узнали его язык? Грибы, если и разговаривали, не могли узнать его. В конце концов они только грибы, живые, допустим. Или один проснулся и крикнул?

А может быть, это командор применил какой-нибудь радиофокус? Пошутил и пугнул его?.. Ему казалось, что

маской и таблетками акридина он провел их, а они раскусили его и шалят?

Корабль далеко. Тогда они должны были сбросить какой-нибудь прибор перед вылетом. Где он? Старик искал прибор дальноточными глазами — пусто.

В небе абсолютная пустота, полдневная, даже кибриков он не увидел. Что его выдало командору? Маска? Но она была сделана отлично. Старик пощупал лицо. Маску он сразу снял и бросил, но не мешало бы побриться. Какой сегодня день... А вдруг эта крикнувшая штука в работе? Старик с подозрением уставился на него. Он вынул очки и просмотрел все его заклепки и сварочные швы. Все в порядке. И тут старику пришла одна мысль.

Если звук был, то робот должен услышать его.

В самом деле, это живая штука, он все слышит, все видит.

Может, робот услышал крик и засекал все параметры — вибрацию, колебания, резонанс. Тогда он скажет. Он было уже сказал, но проверяет все. Робот-охранитель подозрителен и проверяет световые волны, звуки, и слышимые, и те, что остаются тайной для него самого.

— Ты что-нибудь слышал?

— Нет.

Снова крик!.. Старик поежился. И подумал, лучше спросить прямо. Роботы не лгут, этого за ними не водится.

— Ты услышал крик?

— Нет.

— Ты услышал?

— Что я должен слышать? — спросил робот.

— Крики. Меня позвали. Кто мог кричать?

— Я не слышал, — ответил робот. Но встревожился, крутнул башенкой. Теперь все, что в радиусе добрых пятидесяти километров, было проверено на возможность окрика старику. И не моргнул индикатор, робот не сказал ничего.

Старик ухмыльнулся: робот не услышал крика. Раз он не слышал его, то никто и не кричал. С собой-то можно быть откровенным, не хотелось ему слышать этот крик и призыв. Начал он слышать его давно, лет пять назад. Слышал то раз в год, то два или три раза в день. И не хотел ни слышать его, ни помнить о нем.

Робот этого не поймет.

— Ты мне веришь, робот? — спросил он. — А ты не верь, я очень хитрый старик, я всех обманул.

— Когда мы пойдем? — спросил робот.

И голубой свет осыпался с его клешней, с глазчатой башенки, а ноги его заторопились на месте.

Это был очень беспокойный робот, он не мог стоять, все вертелся, оглядывался. Поглядев на его солнечные батареи, на раскачивающуюся антенну с полированной чашкой направленного отражателя, старик подробно вспомнил «Фрам».

Где-то он сейчас?.. Пока старик приземлялся и робот устраивал ему здесь все хозяйство, тот улетел на тысячу парсеков. На обратном пути он вернется за стариком. Там и не догадались о его хитрости. Все было проделано на хорошем уровне — и командировка, и так осточертевшее резиновое лицо. Под ним чесалась и зудела кожа, проступал пот. Он даже без благодарности, а с злобным чувством швырнул маску в первый же разведенный им костер.

На корабле ему было оскорбительно носить маску молодого человека. Она была хорошо подогнана, но полет был долог. Постепенно под нею становились другими его черты. А посчитать накладные плечи, бицепсы, трицепсы и прочее. Все сняв, он даже не узнал себя, потому что за время полета привык к своему исправленному образу, был терпеливый старик. А все дело он затеял еще на Земле. Парень, что должен был лететь сюда, на планету Странностей, ботаником, был обманут им, заключен в силовое поле, которое распахнулось только сейчас. Странно, но он почти забыл...

Ничего, его робот заботится о нем, еды много. Парень, конечно, бесится. А вот он вопреки всему оказался здесь. И старика охватило торжество — и ушло. Он подумал, что если бы молодым одержал верх над столькими умными людьми, то у него билось бы сердце и озноб ходил по коже. А сейчас ничего такого не было, просто эти люди на Земле и корабле, целями которых были полеты в космос, жизнь, любовь, друзья, столкнулись с ним, многоопытным стариком, имевшим только одну цель. Да, пока они разбрасывали свою жизнь на полеты к чужим солнцам, на семьи, любовь и т. д., он стремился к одной великой цели. И потому у него хватило сил все сделать. Что же, он был старик, жил достаточно долго, он имел право на большую цель.

Пусть молодой друг бесится. Сейчас он уже выпущен на свободу, мчится в астропорт. Это он, между прочим, рассказал о планете фитахов — на свою голову.

Что-де летит на нее.

Ничего, молодых волнение только бодрит, а поражение учит.

Все хорошо.

Он, старик, бредет заповедной, даже тайной, планетой. (Всесовет скрывает ее), а ботаник учится терпеть поражение.

Он, старик, одолел барьер, который поставил Всесовет до точнейшего выяснения особых свойств этой планеты. Теперь пусть изучают хоть тысячу лет — ему все равно, он уже здесь.

И старик усмехнулся горькой улыбкой старости, добившейся превосходства над сильными и молодыми.

Добился. На какое время? Навечно! Эти растения обновляются, они вечно рожают другие, и есть что-то в них, что переходит из одного в другое и тоже живет вечно. Вечная жизнь, вечные воскрешения... Старик почувствовал усталость. Отяжелели ноги и руки, особенно их кисти.

— Я отдохну, — сказал старик. — Вначале я отдохну.

— Но ты не должен был устать, — возразил робот. — Это твой самый удачный день.

— Да что ты! — усмехнулся старик.

— По всем показателям удачный день. Вот и влажность 81,5 процента, и температура двадцать, а давление семьдесят пять.

— Пусть давление, — возразил ему старик, — но я устал.

— Это самые лучшие условия выведения фитахов. Идем!

— Твоя правда, — согласился старик. — Идем изучать фитахов, это моя основная ботаническая задача.

Они пошли. Начав разговаривать, старик уже не мог остановить себя.

— Конечно, я хитрый, но все равно фитахи — наша с тобой главная задача, это помни и проследи. А про отдых молчи, ведь я не молоденький, я всегда усталый. У меня не руки, так ноги устали, и так всегда. Или суставы ломит. Я очень, очень пожилой, одинокий старик, у меня только язык никогда не устает говорить. Их у меня два, один во рту болтается, а другой в голове. Я все говорю, говорю, говорю с собой. Иногда это надоедает.

— Тогда у тебя замедлен альфа-ритм и возникают перебои в сердце.

— Верно, — согласился старик.

— И зубцы твоей кардиограммы становятся ниже, а это нехорошо.

— А я давно не чувствую себя хорошо, лет сто, наверное, — отвечал старик. — И чего это мы с тобой разболтались, нам надо работать. Зря нас, что ли, везли сюда, тратили амазоний. Шагай, шагай...

Старик шел, выбирая дорогу поприятней. Робот же ходил так, как ходит очень хорошая охотничья собака на серьезной охоте, челноком.

Этот стальной паук неумоимо перекачивался. Он выкапывал растения и совал их в гербарную сумку. Но прежде он не забывал каждое снять стереоаппаратом и даже произвести простейший спектральный анализ.

А еще паук бормотал подробные признаки растений, чтобы их слышал старик и записал электронный мозг, что вертелся на спутнике вокруг планеты.

Ему же передавал стереоскопические изображения.

Такой работающий и умный. Старик приглядывался к нему прищуренными глазами и удивлялся, почему сейчас считается ботаником человек, а не его универсальный робот, прошедший часовой курс подготовки.

Несправедливо!

Старик устал. Он шел, придерживая грудь и то и дело возникавшую в ней пустоту.

Такая странность — пустота, которую нужно держать. Много он собрал в себе разных странностей: его поступок с ботаником, заключенным в силовое поле, его решение скоротать свой век на этой странной планете.

Пустоту в груди заполняло нажатие кулаком. И старик, прижав грудь, брел и шурился на немыслимое буйство этого мира, где свет — песок, растения живые, а грибы ходят. И есть фитах, ради тайны которого межзвездные корабли летят сюда. Не зря, наверное, планета носит женское имя Лада. Она непонятна, а земля ее странная.

Взять почву Земли, что в медальоне. Она черно-серая, сыпучая. Предки старика были русскими крестьянами, и на рисунках в книгах он видел их фигуры, склонившиеся над плугом.

Для любителей и сейчас была черно-серая сыпучая земля, плуги и манекены лошадей, отмахивающие хвостом мух.

А здесь вот земля отчего-то оранжевая. Должно быть, в ней много железа. Но она жирная и под ногами такая рыхлая, словно ее перепахали. И идти по ней

трудно. Каблуки мягко и тяжело входят в землю, уплотняют ее до тех пор, пока она не станет достаточно твердой для опоры шага, каждого следующего шага.

Он чувствовал шаг — зависание ноги, ее вхождение в упругость земли. И наконец, упор подошвы.

А вокруг растения, предельно странные. Они живые, они смотрят на него широкими травяными глазами, они шевелят зелеными усиками.

Но они-то зеленые, все зеленые. Да, от этого, как ты ни шевелишься, никуда не денешься, в растении должен быть хлорофилл! Есть постоянное во всех мирах. Всюду солнце, похолоднее или жарче, всюду почва, всюду хлорофилл.

А растения цепляются за его руки. Они, будто стеклодувы, прямо на глазах выдувают роскошные цветы. И те уже отцвели, морщатся, темнеют, на глазах высыпают семена, похожие, черт бы их побрал, на микрочеловечков. Ворочая руками и ногами, они бойко вкапываются в оранжевую землю, лезут вниз головой.

Такого он еще не видывал. Быть может, в этом глубокий смысл? Нет, нет, не спешить с выводом, а подождать, подумать. Как следует думать вечером, у костра, который он прикажет развести. Жаль, что здесь только растительная жизнь и никто живой не идет к их огню. Разве что грибы.

Он будет вечером глядеть в огонь и думать.

Огонь помогает думать. Почему? Это родственные процессы. Что ни говори, а мыслью и огнем держится вселенная.

...Старик размышлял, а семена вкопались, выпустили ростки, толстые и белые, неприятно хрустящие под ногами. А идти надо, их не перешагнуть, лег их сплошной шевелящийся ковер, густо переплетенный.

И все это уже тянется вверх и тихо скворчит. Будто кузнечики на оставленной Земле.

Старик снова услышал голос, но теперь ласково шепчущий. Он прошелестел ему манящие слова. Так гово-

рят женщины: «Иди же, иди ко мне... милый. Ты долго бродил чужими мирами, но лучше меня не нашел. Так приходи же ко мне, успокойся. Отдохни, я сделаю все, чтобы ты отдохнул наконец...» И в самом деле, сколько усталости... Хотелось лечь и заснуть... Но старик знал, это голос его смерти. А он не хотел ее. Он всегда равно боялся смерти и женского успокоения. И всегда уходил от них, оттого и одинок. И он заторопился, больше не глядел под ноги. Хотя в нем шептало: «Ты прожил двести хороших лет, пора кончить, уступить место».

— Ни за что!

И вдруг налетел на большое и мягкое.

— Ай! — вскрикнуло над головой.

Старик опомнился. Он стоял, а перед ним, надломленный, запрокидывался, и падал, и моргал глазами толстый живогриб. Старик подхватил его. Дернувшись в руках, живогриб замер. Старик опустил его и стер его слизь с рук. Гриб умер. Рот его был широко распахнут, руки он выдернул из земли, оборвав белые нити, когда искал ими вокруг.

И так пахнет грибной прелью!

— Простите, я не заметил, — забормотал старик.

И — опомнился. С пристальным вниманием глядел он на мертвый гриб, лежащий на земле. Рыжая его шляпа смялась. Гриб умер, но едва ли он это сознавал. Смерть... Надо избегать ее.

— Избегну, — решил старик. — Я очень, очень хитрый, я попробую жить вечно. Я не буду горстью пепла, что посылают родственникам. А кто из них жив?.. Не помню...

Все растущее кинулось на сбитый гриб. Должно быть, он был сытной, хорошей едой для корней и отростков, что вонзились в тело гриба. А они уже густо оплели его, и не было гриба, а только приподнимался зеленый, скворчащий, шевелящийся холмик.

Зеленая куча стала разбухать и вздрагивать, будто в ней шла борьба между этими корнями.

И вдруг сверкнуло — робот встал над кучей. Он разгребал ее, что-то вылавливал и совал в банки. Другое прятал в гербарную корзину: несло жаром от его инфрасушилки. А растения сплетались в тугий зеленый ком, в нем происходило судорожное сокращение.

Старик понял — там и творилась тайна жизни и смерти, гибели и зарождения, там создавался мостик, по которому мертвое на этой планете прямо переходило в живое.

Старик даже окостенел, поняв величие происходящего, ощутил дыбом вставшие волосы.

— Ожидаю появления фитаха, — вдруг сказал робот и застрекотал камерой. Вот оно. Для этого сошел с курса звездолет А-класса «Фрам», а сам он решил завершить свою жизнь именно здесь. В глубине зеленого кома вспыхнула искра, и свет заструился из него.

Этот свет брызгал во все стороны.

Сейчас он, старик, проследит все фазы рождения фитаха. Любопытство! Вот почему не хотелось умирать — любопытство еще держало его. Он коснулся многих тайн вселенной, но не устал от этого и хотел, хотел, хотел узнавать.

Здесь происходит чудо, ради него несутся ракеты, устроен силовой барьер вокруг планеты.

Ради него, наверное, пробивают этот барьер жители других планет, и уловить их нет возможности, настолько они непохожи на земное и понятное человеку. Здесь рождается тайна жизни, надо только понять ее. Да, здесь оголенная тайна жизни. Кто мог ее понять?

Он, старик, сделает это, поймет!..

Робот снимал фитаха, стрелял вспышками. Синими. Молниеносными. Мерцавшими, словно малый фотонный движитель.

Пошел теплый дождь и смочил плечи старика. Вспышки обрисовывали капельки.

Они били по глазным нервам. Старику хотелось закричать, чтобы робот перестал. Он испугался своего желания крикнуть, потому что увидел Его в переплетении стеблей, все время шевелящихся. Он растет и становится выше, напрягается. И видно, что ему сладко это напряжение.

Дождь перестал. И тотчас, громко щелкнув, словно вдруг о чем-то догадавшийся человек — пальцами: «Эх, вот как надо было все сделать!», вылезла из шевелящегося цветочная головка. Она пахла чем-то сладким, корицей, что ли?.. И тотчас порхающие огни кинулись к цветочной головке и свили вокруг нее мерцающий круг, вращающееся кольцо.

Быстрее, быстрее... И это уже не цветок, а трепещет и балансирует на стебле зелеными крыльями фитах.

Старик молчал: свет вспышек измучил глаза, они слезились. Надо вытереть их. Но старик ждал — сейчас фитах взлетит вверх, будет сияющей красной звездочкой. Так взлетали вверх Андронников и Бенг, старина Бенг, сбежавший сюда на ракетной шлюпке и с тех пор исчезнувший. А ведь она не сгорела на подходе к планете.

...Фитах дергал лапками, желая взлететь. Но в нем что-то менялось. Затуманились крылья. А потом он умер и не упал. Фитах висел, легкая и странная тайна жизни.

Умер! Робот перестал моргать вспышками. Старик взял легонькое тельце, осторожно оторвал.

Фитах был в его ладони, мягкий, словно бумажный. Красное его свечение уходило.

Старик думал о том, что вот он, маленький и легонький, словно бумажный, но сколько тайн заключено в нем, их и не перечтешь и не угадаешь. Среди них и самая главная тайна для него, старика.

Что же случилось с Бенгом? Вот в чем вопрос.

Андронников не беспокоил старика, он смог бы найтись в любом случае, в любом положении. А Бенг?.. Он вошел в этот мир, а стало быть, и в это бумажное легкое тельце.

Фитах лежал в ладони, не растение, не птица, а загадка.

Старик думал, что он счастливец — первым из людей проследил рождение фитаха и подержал его в руках.

А что из этого следует?

Старик дал фитаха роботу, и тот сунул его в банку с формалином. Вот и все. Теперь ученые исследуют его. И снова ничего не узнают.

Она такая, жизнь, ее можно изучать и исследовать и все же ни черта в ней не узнать.

Надо было устраиваться на ночлег: по небу уже неслась луна, а за ней желтой стаей неслись ее осколки. Ночлег... А где теперь «Фрам»?.. Следовало искать место посуше. Старик включил фонарик: перед ним выпирал земляной бугор, холм по-человечески. А по-здешнему? Неизвестно.

Умер фитах... Вот оно как происходит. Помешали фитаху взлететь он с роботом. Что стал бы делать этот фитах?.. Наверное, где-нибудь приземлился и дал начало новой прекрасной жизни, без старческих немощей. Но какой?

— Ты, говорят, привычка, жизнь? — говорил он. — Тогда я здорово привык к тебе. Ну, спать, спать.

И не заснул до утра.

Робот подсунул ему вздутое кресло, и старик сел, уперев локти в колена. Шла ночь. Все мерцало вокруг голубым пламенем.

Старик сидел, держа руки на коленях, и думал.

— Спасибо, — сказал он роботу, когда тот дал ему

кружку кофе. — Пожалуй, я бы съел чего-нибудь свеженького, редиску или морковку, а потом мясного салата.

Робот повозился с синтезатором, а потом расставил тарелки. Он развел костер — знал, что старик любит огонь.

Старик глядел на еду, но есть ему не хотелось. Он ощущал в себе тяжесть, тянущую его вниз. Ожидая, пока остынет кофе, он стал думать о Бенге, оставившем ему короткую малопонятную записку. (Андронников был откровеннее, он говорил.)

Бенг исчез. И, только вспомнив до единого все последние его разговоры, старик понял все. Ему помог робот, милый железный паук, такой же работяга, как и земные пауки, что плетут сети и ловят дичь. Помог и вспомнить.

Земля — разная, чаще красного цвета из-за солей железа. Иногда бывает желтой, и лишь однажды он увидел голубую землю. Так увидел — его ракетная шлюпка низко прошла над синей равниной и опять поднялась к ракетному кораблю. Сесть они не решились, были сжаты графиком, но синеву земли все могли видеть на отснятом фильме.

...Трещал костер. Захотелось есть, но лениво как-то. Молодой аппетит, где ты? Ушел навсегда.

— Пожарь мясо, не хочу салат, — капризно сказал старик.

Робот стал возиться со сковородкой. Но и жареное синтетмясо старик есть не стал, поковырялся и отставил. Захотелось пить. Старик прислушался: под холмом журчал ручей. На слух он добрался до ручья, встал на колени.

Вода была холодной, но с привкусом ванили. Ничего, пить можно. Он долго пил воду, черпая ее ладошкой. Затем тяжело поднялся на холм и сидел, глядя на мерцание гаснущих углей. Вот синева в них, он вспоминал, где видел живой огонь... (не синее мерцание шкал). По-

жалуй, он чаще видел тот огонь, что рвался из шлюзов двигателей.

Холодное коснулось его. Щупальца?

— Прошу спать, спать, — бормотал, легонько толкаясь, робот.

Старик было заупрямился, но программа сбережения его здоровья была вложена в робота еще на корабле, а тот бормотал:

— ...спать... спать... спать...

Машину не переупрямишь. Старик вздохнул и пошел спать. Робот быстро превратил его кресло в матрас, над ним соорудил палатку. Старик зажмурился. И как всегда перед сном, в памяти его прошагали приятные и неприятные люди. Их было много в его жизни.

— А сколько мне лет? — спросил он, немного гордясь собой. — Робот?

— Двести двадцать один земной год три месяца восемь дней шесть часов пять секунд восемь терций.

— Спасибо. — «Подумать только, две сотни двадцать один год». Старик уснуть так и не сумел. Тоска, тоска. Робот ушел, и старик слышал то стук, то миганье вспышки — робот собирал образцы даже ночью.

Старик иногда вставал, поглядывал на звезды. Или шел к ручью и пил еще. Но снова возвращался и ложился, теперь уже в траву на спину, чтобы не очень ныла его поясница. И над ним тяжело горели звезды, вечные.

Старик задремал было. И вдруг снова крик, но теперь уже такой явственный, что старик сел с поднявшимися волосами.

Ему кричали:

— Я жду-у-у-у!.. Иди-и-и-и!..

Но теперь, когда ото сна голова его посвежела, он понял, что земля нетерпеливо звала его в себя. Он слышал такое от стариков, они говорили: это некие мозговые часы. Они включались? И старику остро, до крика: «Я иду иду, в тебя! Я буду в тебе!» — хотелось

лечь и прижаться к земле, влажной и рыхлой, вмять в нее пальцы рук и ног, как у живогрибов, и войти, войти в нее.

— Я иду! — пробормотал он. — Я готов.

Земля, серая она или оранжевая, все равно земля. Предки копали ее, ненавидя и любя. Но есть еще один обряд, его нельзя забыть.

Он вынул из-под рубашки медальон и раскрыл его. Понюхал, потом вытряхнул землю — родную — в ладонь и растер, размял пальцами и посыпал ею голову. Затем он порылся в сумке и выпил жидкость из плоского свинцового флакончика. И лег на чужую оранжевую землю и даже застонал от сладости покоя: земля приняла его, как нежная женщина, она будет добра к нему, беспредельно добра.

— Я хитрый старик, — пробормотал он. И в этот момент выпитый состав стал жечь. Он жег язык и горло (боль была сильна, старику хотелось кричать).

Старик прижался щекой к шевелящемуся зеленому ковру. Тот промялся под его тяжестью, обнял его. Старик почувствовал, что он весь уходит в землю, вливается, исчезает. На мгновение родился протест — вскочить, уйти, просить помощи робота, — но тут же старик успокоился.

— Я очень терпеливый старик, — говорил он. — Походил — и хватит.

Ему снова захотелось вскочить и уйти. Он приподнялся, позвал робота и снова лег. Умирать? Тоже хорошо. Это значит узнать еще одну тайну. Стать землей в этом возрасте так естественно. «Земля, земля», — бормотал он и чувствовал, как обвивают, щекают его растения.

Он вспоминал пройденные годы — горе, счастье, любовь и ненависть. Но чаще всего огненную стрелу своего полета в неразведанных пространствах. Так и сейчас — он уйдет в неразведанное. А на рассвете, когда посыпался свет, он приподнял голову и взглянул на

свои проросшие ноги и руки. Он уже был общий этому миру, оранжевой земле, будущим странным растением. К нему бурно тянулись другие растения.

Они сплелись над стариком, свет проходил к нему в узкие щели. Затем растения стали пухнуть, и робот выдвинул газовые анализаторы.

Щелкнула и поднялась цветочная головка. На ней шевелился фитак, перебирая лапками.

Робот спрятал кинокамеру, и вышел на связь с командором, и доложил ему.

Старик же раскачивался на ветру и чувствовал листьями горячий песок сыплющегося света, а корнями ощущал холодок подземного ручья. Он ощущал вызревание семян и ждал, когда упадет с ними во тьму подземелья, а затем вырастет снова и, быть может, побывает еще раз фитактом, и посмотрит на планету сверху.

И небесполезна будет его вечная жизнь, он выпил радиоактивные вечные атомы. Перебегая, они помогали роботу, и тот всегда рядом и ловит путь старика и все, что меченые радиоактивные атомы могли сообщить ему.

Передачик работал. Знание шло на Землю.

Командор сказал за обедом первому помощнику:

— Старый мошенник думал провести нас.

— А что он хотел? — спросил молодой второй помощник. — Мы вернемся за ним?

— Нет. Мы не вернемся.

— Чего они ищут?

— Бессмертия. Они наивно хитрят, и приходится делать вид, что веришь им. Едут лучшие, в которых горит жажда знать и жить. Что они там узнают, интересуется даже Всесвет, но как получить от них информацию? А?

...Корабль глотал парсек за парсеком, робот сообщал новые сведения о старике на спутник, вертевшийся вокруг планеты. Тот, напрягаясь, перебрасывал записи на радиотрансляционные буи, а они далее — на Землю.



ПОВЕСТИ

СИБИРИТ

СТРАННАЯ НОЧЬ

Октябрь, 19-е, 1981 год

Сон не шел. Причин к этому, если разобраться, было много. И лег-то он слишком рано, и старый ватный мешок стал тонким, как сиротский блин; в ущелье долго и тоскливо выли волки.

Поворочавшись часа два с бока на бок, Липин чертыхнулся и решил вставать. Выпростав руку, он расстегнул холодные пуговицы, раскинул полы спального мешка. Сел.

Холодный воздух охватил его. Согреваясь, он заработал короткими толстыми руками. Вытягивал их, сгисал, с острым наслаждением напрягая мышцы.

Стало тепло и весело. Липин, пошарив руками, нащупал ящик с упакованными термометрами, барометрами и прочими хрупкостями. Приваливаясь к нему спиной, закурил и удовлетворенно сказал:

— Порядок!

Ветер по-прежнему трепал палатку, горстями бросал ледяные зерна в гулкий брезент. Но все это снаружи. В палатке же довольно уютно. Липин пожалел волков.

— Невесело им, — сказал он вслух, укоризненно качнув головой. Задумался.

Мысли были приятные. Втягивая щекочущий в горле дымок, он вспоминал удачно прошедшее лето, домик метеостанции в снегах. Поработали славно. Задание выполнили, сверх него многое сделали. И дружно так, без свар и споров. И когда после метели снежным обвалом завалило каменистую тропу, они не особенно огорчились и в свободное время проложили новую. Она прошла по неисследованной местности Сихотэ-Алиня и была длиннее старой на полсотни километров.

Ею-то и ушли ребята. Вчера перенесли весь груз —

две с половиной тонны научного оборудования и багажа — через хребет, к лесистому ущелью, разбили ему палатку и отправились за лошадьми. От самолета, посоветовавшись, отказались радиограммой. Погода была неустойчива: то шел снег, то бесновался ветер.

Долго ли до несчастья!

Липин испытывал приятное ощущение и оттого, что он хорошо знал свое временное хозяйство.

Знал, какой микроклимат в этих ущельях, знал, какие четвероногие и пернатые держатся здесь. Это было приятное ощущение.

Липин, занятый мыслями, не заметил, что вой усилился — крик голодных, мерзнущих зверей.

Он пронесся тоскливой жалобой и окончился воплем, полным отчаяния.

— Ишь, как вас прижало, — пробормотал Липин, внезапно ощущая в себе что-то отозвавшееся. На мгновение ему стало жутко. Вспомнилось, что он здесь один. Это не вязалось с прежним настроением, он сказал удивленно: — Ну и ну...

Но волки замолчали, а сигарета кончилась. Бесконечное шуршание ветра и царапанье льдинок нагнало на Липина дремоту.

Дремота была сладка и мучительна.

Зазвучал скачущий мотив детской песенки: «Дождик, дождик, перестань!», в лицо заглянули знакомо блестящие глаза, их неожиданно сменил страшный образ полумедведя-полуволка.

Зверь, широко раскрыв красную пасть, погнался за Липиным и закричал дико, страшно.

Липин вздрогнул и открыл глаза. Пока он дремал, что-то изменилось. А, тишина... ветер не шуршал палаткой, не царапали ее ледяные коготки. Неприятная тишина, гнетущая, Липин пожалел, что остался. А этот страшный крик, разбудивший его?.. Где он его услышал?.. Только ли во сне?..

Липин попытался отвлечься, обдумывая в подробно-



стях путь вниз, а оттуда самолетом в Иркутск: неприятное ощущение не проходило.

Казалось, что на него смотрят пристальным, вяжущим руки взглядом. Взгляд то упирался холодным пальцем между лопаток, то окутывал паутиной. В этот момент Липину хотелось крепко вытереть свое лицо. Желание было сильное, он с трудом сдержал себя. Поразмыслив, он принял его за обычную в горах усталость нервов, рождавшую причудливые ощущения. Объяснение ему понравилось: нервы шалят! Но вдруг быстрые шаги, хруст льдинок и стук камней. Кто-то тронул палатку и захихикал странным, взлаивающим смехом. Сердце Липина сжалось.

Он принужденно ухмылялся в темноту. Кого испугался? Волков? Ладно же, сейчас он им даст.

Будут знать!

Липин вынул ноги из мешка (спал он одетый) и нащупал холодный приклад двустволки. Медленно и осторожно он потянул ее, тяжелую и обжигающе-холодную. Осторожно переломил ружье и ощупью проверил, заряжено ли? Ружье было заряжено. «Картель», — вспомнил он и привычно сказал:

— Порядок.

Сказал и прикусил губу. Затем встал на четвереньки, отстегнул клапан палатки и, держа ружье стволами вперед, выскочил.

Холодный воздух охватил его. Показалось, спрыгнул в ледяную воду. «Минус пятнадцать», — отметил он, осматриваясь. Сзади как будто захихикали. Липин круто повернулся и вскинул ружье. Затем, тяжело вдавливая каблуки в сыпучую ледяную крупку, обошел палатку.

У горы багажа, прикрытого куском темного брезента, никого не было.

Обойдя палатку, он остановился у ее входа, присматриваясь и прислушиваясь.

Ветер снова подул — ровно, сильно. Прежнюю

сплошную завесу туч сменили их лоскутья с просвечивающими закрайками. Тусклая луна ныряла в них. Так в весеннее половодье в волнах ныряет унесенный водой круг замороженного масла. Того, что делают про запас в сибирских деревнях.

И довольно светло, ночь походила на сумерки. Со всех сторон белели горные хребты. Поросли стланика делали их похожими на щеки небритого, бледного человека.

Скалы под шапками свежего снега... Они похожи на старые зубы. Лесистое ущелье чернеет бездонным провалом. Где-то в темноте оно вливалось в другие ущелья.

Их здесь множество — глубоких и лесистых, с обледеневшими склонами.

— Веселенькие места, — усмехнулся Липин.

От малого давления или скуки Липин зевнул. Он поправил брезент, набросал камней на край палатки. Окончив, покурил у входа.

Курилось легко и приятно, ветер вдувал дым в легкие. Волки, напуганные им, разбежались. Можно идти спать. И палатка представилась Липину желанным местом, манила, была его домом в этих диких местах.

Он с нежностью вспомнил старый ватный мешок.

Нагибаясь к входу, сквозь легкий шум в ушах, появляющийся в горах при движении, он услышал прежние звуки. Но этот вой чем-то отличался от прежнего. Его не глушил плотный брезент, он звучал отчетливее.

Вой несся из ущелья. Липин выпрямился. Чтобы яснее слышать, он загнул вверх мохнатые уши шапки.

Качал головой: нет, это не серые волки. Оборотень, что ли? Липин усмехнулся.

Может, это гималайский снежный волк?.. Говорят, они приходят сюда.

Вой пронесся и вернулся, эхом зазвучал со всех сто-

рон. Не успело оно заглохнуть, как что-то темное отделилось от скалы и укатилось в провал.

Липин, сжимая ружье, вглядывался.

— Нужно было стрелять, — бормотал он.

В ущелье неожиданно взорвался шум драки: стоны, вой, прерываемый натужным ревом. В бездне ущелья дрались, и дрались жестоко. Это перекликалось с криком во сне и потому казалось особенно жутким.

У Липина отяжелели ноги. И в то же время его охватило любопытство.

— Что это?.. — шептал он. — Что?..

Липин осторожно подобрался к краю ущелья. Опершись о камень, глянул.

Ну и темь! Пахнет смолой, торчат верхушки елей. Вой и рычанье усиливаются, и вдруг (Липин обомлел) из ущелья донесся истошный женский визг. Здесь?.. Он был таким же неуместным, как вой волков в горах.

Он и толкнул Липина.

Закинув ружье за спину, обостренно чувствуя каждое движение своего короткого мускулистого тела, Липин стал спускаться вниз.

Каменистый склон был крут и скользок, приходилось цепляться руками и ногами. Склон ущелья шел уступами. Ободрав ладони, Липин спустился на верхний.

Уступ образовывал большую, в несколько десятков квадратных метров, площадку. Верхушки лохматых елей выглядывали из-за края. Лыдистая крупа густо усыпала его.

А в ущелье шла драка: ясно доносились глухой рев и какие-то странные завывания, перемежающиеся криками.

Значит, в ущелье люди?..

— Эге-гей! — крикнул он. — Кто там?..

Драка продолжалась с прежним ожесточением. Затем, после особенно свирепого рева, шум стал быстро перемещаться. Вначале он удалялся. Вслед за этим

дерущиеся загремели камнями левее площадки, затем правее. Липин отскочил в сторону и присел за большим камнем.

Снял ружье.

Послышались грузные шаги, стук скатывающихся камней, пыхтенье. Царапнули когти, и с коротким рыканьем на краю площадки выросло что-то большое и темное.

«Медведь», — решил Липин. Тот резко, наотмашь ударил лапой. Закричали. Медведь быстрыми прыжками пересек площадку и взобрался наверх, откуда только что спустился Липин. Там стал ходить. Медведь небольшой. Глаза его — зеленые огоньки, округлые уши прижаты. Зверь сердился.

Липин вскинул ружье, решив — была не была — стрелять в медведя картечью. И не выстрелил.

Внезапно (Липин даже вздрогнул) на выступ один за другим, словно подброшенные, выскочили сгорбленные фигуры. Четверо. Они неслись следом за медведем. Местами они бежали на коротких, согнутых в коленях ногах, местами опирались на длинные руки и тогда передвигались боком, резкими прыжками, словно пауки-бегунцы.

Липин замер.

Странные существа, добежав до подъема, остановились. Сев на корточки, они сгорбились, втянули узкие головы, руки и лапы. Они стали точно походить на лежащие вокруг черные камни.

Прошла минута. Черные существа вскочили. С резкими, дребезжащими звуками двое унеслись на край площадки и стали карабкаться вверх. Оставшаяся пара, поднявшись и крича, заковыляла к медведю.

Они, выставляя вперед локти длинных рук, били себя кулаками в грудь. Эти двое с ревом лезли вверх, к медведю, временами срываясь и падая. Медведь, начавший беспокойно топтаться, спустился навстречу. Он коротко рыкнул и сбил переднего. Оба существа, цепля-

ясь друг за друга, покатались вниз. Одно поднялось и вновь направилось к медведю. Другое, пошатываясь, проковыляло на четвереньках к камню Липина. Оно село прямо в снег, поджав ноги. Круглые ступни зарылись в ледяную крупу. Остроконечную голову оно схватило руками. И, побряхывая и раскачиваясь, роняло черные маленькие шарики.

«Кровь!» — ужаснулся Липин, жадно разглядывая раненое существо. Ростом оно было немногим более полутора метров, с вислыми плечами, круглой грудью. Волосы (или одежда?) покрывали короткое тело. А лицо неразличимо темное, чем-то прикрытое.

..Медведь испуганно ухнул. Липин поднял голову и увидел стремительные черные силуэты. Это были двое, что обошли медведя стороной. В этот момент третье существо, до сих пор отвлекавшее медведя, с криком бросилось на него. Сцепились. Темный клубок покотился по краю, скатился на площадку, распался на мгновение, вновь сцепился и стал кататься по площадке, весь седой от ледяной крупы.

Мелькали лапы, руки, ноги, головы. Шерсть летела клочками вверх.

В те редкие моменты, когда клубок распадался, трое нападающих металась вокруг медведя. Он рычал, кружился на месте, бил лапами наотмашь. Но, видимо, слабел.

Он сделал попытку вырваться: зарычал, защелкал зубами, бросился к скале. Но черные существа схватили его за задние лапы и опрокинули. Они мяли зверя, стонущего, втискивая его в мешок. Послышался натужный приглушенный хрип — мешок затянули. Но этот медвежий хрип был мучителен. У Липина сжалось сердце. Непроизвольно, только чтобы оборвать страшный звук, Липин поднял ружье стволами вверх, сдвинул предохранитель и нажал спуск.

Ружье дернулось в его руках. Оно гроыхнуло, выпустив длинную струю огня. Вспышка на мгновение

сгустила темноту, но, когда Липин вновь ясно увидел площадку, странные существа исчезли. И в ущелье тихо: ни стонов, ни воя!.. Ничего!..

— Ни-че-го, — пробормотал Липин.

Он закинул ружье за плечо и пошел, спотыкаясь. Очнулся, наткнувшись на гранитную стену.

— Сон был, я сплю, — сказал он и начал подниматься.

Около палатки он стряхнул снег неловкими тяжелыми ударами. Влез, застегнул клапан. Нашупав выставший спальный мешок, лег, положив ружье рядом.

— Сон. Я сплю.

А сна-то и не было. Липин закурил.

Растерянно ухмыляясь, он глядел на красную шапочку огня и не чувствовал вкуса дыма.

— Это галлюцинация? А? — сказал он.

И долго еще Липин перебирал в памяти мельчайшие подробности увиденного. И не заснул до утра, а когда рассвело, он сошел на каменистую площадку и увидел, что камни под снегом вовсе не камни, а синеватые, с дымкой кристаллы. Их здесь множество.

Он туго набил ими карманы, чтобы унести отсюда, а поглядев на них, вспомнить то, что он видел во сне или наяву.

...В городе он заказал перстень своей подружке. Другие кристаллы отдал Приходько на химическое исследование.

СОСЕД

*Май 1982 года. Необыкновенно теплый,
можно было спать на улице.*

Эта командировка в Новосибирск не порадовала Нехалова. Во-первых, завод все не отгружал станки. Да и то сказать, сотни людей висели на заводском телефоне,

из них десятка полтора сущих прохиндеев. Они предлагали снабженцам путевки и очереди на покупку автомобилей «Москвич» и «Жигули».

У Нехалова не было путевок и автомобилей, а только желание получить станки и убраться домой. А еще он чуял, что нравится директору: не вязнет, не суетится, ведет себя достойно.

Чуял — программные универсальные станки ему дадут. Он всегда чувствовал, дадут или нет, так развила в нем работа телепатические способности.

Место ему дали в гостинице в двойном номере с постояльцем непонятной профессии.

Нехалов его никогда не видел днем и редко ночью.

Сосед был и одним, и разным. То старичком, то девушкой или современным парнем, кто их разберет. И чувствовалось, что он посторонний, шпион или артист. Потому и внешность разная. То влетит птицей, а не то ночью замыкает котом.

Эта гипотеза удовлетворила Нехалова — артист! Потому и сны виделись фантастические. Раньше Нехалову снилось деловое: директор, жена, дети... Теперь снились ракеты. А однажды приснился себе самому Нехалов радиопередатчиком, будто сосед передает им, Нехаловым, разные сведения.

В ночь на вторник он передал такую радиограмму:

«Арбукез Мобешти — Всесовету относительно расширения телепортации. План Ауза выполнен, возникли затруднения увлечением охотой на животное медведь, кристаллы в руках людей».

В среду Нехалов стал уже радиоприемником, так как принял следующее сообщение:

«Всесовет — Арбукезу Мобешти относительно выполнения плана Ауза. Сколько времени займет у людей понимание свойств кристаллов?»

Нехалов решил, что он злоупотребляет кофе, и стал обедать в диетической столовой, невкусно, водянисто, зато по-медицински. Не помогло, в ночь на пятницу

(он обедал протертым супом и паровыми котлетами) Нехалов передал следующее сообщение:

«Всесовету — Арбукез Мобешти относительно времени. По обнаружению телепортационных свойств будут изучаться в так называемых НИИ, у нас минаусах будут созданы новые НИИ, изучатели напишут диссертации и книги, на что уйдет двести земных лет. Предлагаю обратить особенное внимание на людей, называемых чудаками-изобретателями, разновидность существ у нас неизвестная».

Тотчас же Нехалов принял короткий ответ:

«Всесовет — А. М. относительно чудаков-изобретателей.

Действуйте. Почему в последних сообщениях применяется вид странного металлического сооружения. Проверьте чистоту канала».

И тут-то Нехалова разбудил сосед. Он стоял, страшно волосатый и ошетиненный, в виде той гориллы, которую показывают по телевизору. Глаза его лучились красным светом. Он прошипел:

— Завтра получишь станки, убирайся отсюда к матушке черта! Понятно?.. Подводилос ты, чистой энергии жалел...

— Все десять? — спросил одуревший и все-таки не потерявшийся Нехалов.

— Два. Вам нужно два. Ты сквалыга!..

— Спасибо.

— Проваливайте!.. Пошел! (И даже посинел от злости.)

— Прямо сейчас? — спросил перепуганный Нехалов.

— Сию минуту к матушке черта!

Нехалов быстро оделся и ушел. Он брел сонный пустыми улицами города, на ходу передавая текст:

«Арбукез Мобешти — Всесовету относительно чудаков-изобретателей. Прошу разрешения пустить мозговой зонд в среднего представителя канал вычищен».

И принял следующий:

«Всесовет — Арбукезу Мобешти относительно зондажа чудаков-изобретателей, — бормотал Нехалов. — Зондаж разрешается никто кроме крауготов не в состоянии осуществлять телепортацию».

Эту ночь несчастный телепат-толкач провел на скамье, в сквере. Жаловаться милиции он побоялся. Зато с утра его дела быстро двинулись — ему отгрузили даже три станка. Счастливый Нехалов дал телеграмму на завод и побежал купить билет на самолет. И все, что было у него в голове, — ночь, телеграммы, Всесовет и прочее, — исчезло. Забылось накрепко. Но Арбукез Мобешти, показывая этим хорошую память, не забыл Нехалова...

ДВЕ НЕДЕЛИ ОТПУСКА

19.5.82. Взял отпуск — переутомился.

Открылось мне это внезапно. Я спокойно обедал.

Вчера завод отдал новую партию станков (с моим улучшением), и нас перестало лихорадить.

Я обедал бутербродом, стоял у окна и смотрел на улицу. По ней прокатывалась цепь грузовых машин. Пыль и чад поднимались к нам, на девятый этаж.

Шли грузовики. Я считал машины, проходящие без груза, и меня трясло от негодования: гнать машины пустыми!

Жуя, я задумался о тотальной рационализации процесса жизни и прикинул свои возможности. Я мечтаю быть изобретателем-профессионалом (в штатном расписании нет такой должности).

А пока я изобретатель-чудак, одиночка. Мне дана жизнь (одна). Имею три авторских свидетельства: бедно и огорчительно...

Сумма знаний (всех) равна 4, помноженным на 10 в 12-й степени. Число комбинаций их (ресурс возможных изобретений) составляет же $24 \cdot 10^{12}$, что в 100^{100} раз больше всех атомов вселенной. А тут пустые грузовики... И в этот момент меня и ударило.

Падая, я уронил бутерброд и вцепился в подоконник. И увидел — мир рассыпается передо мной в голубую пыль.

Рассыпались чертежные столы, бумаги, счетные машины, люди, находившиеся в комнате.

Затем темнота и пробуждение. Я открыл глаза в здравпункте, на кушетке, обтянутой холодным дерматином. Один мой рукав был засучен, в бицепсе ощущается тягучая боль. От меня отходила Мария Игнатьевна — со шприцем. Она подошла к раковине и пустила струю. Вытянув поршень, стала мыть шприц.

— Что это? — спросил я, ощущая боль в затылке и сладкое изнеможение в теле. — Кирпич?

— Два кубика кордиамин, — сказала она.

— А вообще?.. Знаете, в голове ощущение — ей тяжело, ее раздуло.

— Лежите и молчите. Вы что же, Григорьев, решили, что у вас нет сердца, нет тела, а только мозг? Работаете как лошадь. Изобретатель! Фу...

И Мария Игнатьевна, добрая душа, стала меня воспитывать. Я, лежа на кушетке, рассматривал потолок с волосной трещинкой и решил просить отпуск. И даже сочинил (в уме) рапорт начальству.

Дали отпуск! Проведу-ка я его дома. В самом деле, надо помнить механику тела: питание, физкультура, прогулки, сон, холодный душ и т. д.

20.5. (20 ч. 30 м.). Я в сквере и сижу на скамье. Вокруг вьются комары. На светлом небе они взлетающие и снова падающие снежинки, на темном фоне дома они светят крылышками и оттого видятся мне узенькими гофрированными ленточками.

Увидел я это впервые, и меня поразила способность глаз стробоскопически воспринимать движение. По-видимому, это происходит от нехватки освещения. Глазу

трудно схватывать движение крыльев, их проекции скользят по глазным нервам и накладываются одно на другое. Отсюда и эффект. Некоторое время я размышлял над возможностью крыла в авиации, о замене его, скажем, полужесткими лентами. Но голова работала смутно, в ней что-то от надвигающихся сумерек и от недвижной плотности древесины. Тогда я стал разглядывать деревья, людей, первую выскочившую звезду. Как ее звать?

Никогда я не ощущал такой жадности видеть. Мне хотелось посмотреть все.

Я разглядывал ветки, освещенные фонарем; парочки целующиеся, окурок, зачем-то приклеенный у витрины гастронома.

Мое ощущение: я прибыл из космоса и вижу чужую жизнь.

21.5. Утро я провел у знакомых — живут они в частном строении. Я помогал им в огороде и придумал новый тип лопаты — рукоять в виде боевого бумеранга, режущее лезвие маленькое, изогнутое. Это удвоит темп землекопания.

Поработав, я вынес табурет и долго отдыхал около грядок. Хорошо! Мелкие комары толклись над каждым пучком крапивы. Трясогузка присела на грядку редиса и кивнула мне хвостиком. И тут же взлетела. Я (собой?) ощутил ее взлет и рванулся следом. Но опомнился и ощутил как разновидность своего счастья всех комаров, пучки молодой крапивы и лопуха. Но они чужие мне, я принадлежал к другому, потребляющему их миру. Я стал размышлять о триаде жизни (насекомые — животные — травы). Машины, еще не изобретенные мной, теснятся в голове, они зовут, и кричат, и требуют: «Овеществи!..» Такое, видимо, ощущают бездетные женщины, слышащие приказ: «Роди!» И я засмеялся — от этой разновидности счастья.

Меня волнует растительная красота контуров. Такое отличие от кристаллических структур с их плоскостями и центрами кристаллизации. Но и переключка есть, и переключка... А вдруг все живое — это сочетание жидких кристаллов?

Не в этом ли метод изобретения будущих машин?

22.5. Гулял в тополевой аллее. В полдень туча завесила солнце, и тополевый пух смешался цветом с древесной корой. День порыжел, как старинная картина. Но подул ветер, туча прошла, солнце ударило, и все зеленое засветилось. Тополя же стояли, будто ряды форсунок, горящих зеленым пламенем.

Увидел странное — моя тень на сером асфальте окаймлена узкой и яркой полоской. Ясно, это мозговые неприятные явления (тот удар). Есть и другое: все время я ощущаю присутствие невидимых. Они зовут, они тихо окликают меня, они произносят странное имя. Чудное.

Приму-ка на ночь снотворное.

Открытие: там, где быть цветам, сирень выставила черные угольки. В черном спрятана формула каждого цветка — семилепесткового. И не верится, что из этого черного надуется цветочная гроздь — большая, влажная, лиловая. Хотя и знаю по опыту.

Набросал эскиз гибкого (ленточного) крыла и завел тетрадь для записи неприятных мозговых явлений.

24.5. Оса угодила в миску воды. Стенки миски эмаливые, скользкие, она не могла вылезти и мокла в ней часа два. Но я спас ее в нарушение параграфа инструк-

ции о невмешательстве в жизнь других миров (мой психоз — воображаю себя пришельцем, забывшим свое имя). Но я спас насекомое и положил на солнце.

Оса была крепкая. Немного обсохнув, она привсталала и загудела крыльями. И не поднялась. Тогда перестала гудеть, а вытерла себе голову и усики.

Особенно долго терла голову с правой стороны. Потом протерла хоботок, беря его передними лапками и несколько раз вытягивая до отказа.

Втянув хоботок, оса опять погудела и снова осталась на месте. Тогда она вытерла лапки — передние и задние — и выжала воду из нагрудной щетины. Этого ей показалось мало. Оса стала кататься на полу и облипла пылью.

Промокнулась ею, зажужжала и унеслась. Я рванул следом. Я был оса — пронесился в промежутках ветвей, затем пошел на снижение.

Когда эта дурь кончилась, я сидел у мостовой, рядом с желтой горстью одуванчиков, и растерянно смотрел.

А такая идея — сделать искусственную планету, шар, полый внутри. Там мы и выстроим дома. Варианты материалов — железо и пластики, силикаты и пластики.

Черт бы побрал этот отпуск! Или я схожу с ума?..

Мне кажется, у меня есть странное взезное имя. Оно доносится ко мне из уличного шума, из скрипов деревьев. Но я не могу слышать его.

Был в поликлинике. Врач назначил меня на снимок головы, выписал ножные горячие ванны (на крестец — горчичники). Мило!

26.5. Зацвела черемуха, принесла медовый запах и короткое похолодание. Молекулы запаха синим дымком плывут вдоль улицы. Они клубятся, обтекают дома, вле-

тают в носы. Я тотчас прикинул возможности сделать портативное устройство для анализа запахов: гроздь трубочек, покрытых изнутри меняющимися цвет реагентами, и насос.

Набросал в записнушку и предполагаемое устройство, и название реагентов. Вот что странно — я вижу структуру этих реагирующих веществ в виде сросшихся параллелограммов. А ведь в химии я пустое место.

Проверить по справочникам.

Проверил — ходил к Приходько, в лабораторию. Он химичит над какими-то странного вида кристаллами. Красивые такие, я стащил один. А анализатора еще нет, но теперь он будет, будет... Ура! Я уменьшил количество изобретений на одно. А гибкое крыло? Значит, на два. Но еще и планета...

По сему случаю выпил сухого вина — бутылочку — и пошел гулять.

31.5. Распустились сирень, яблоня-дикуша, ранеты и верхние, пригретые цветы крупноплодных яблонь.

Сколько цвета, запахов, пчел! Они кружат у яблонь даже в сумерки.

1.6. Первая жара. Скворцы и воробьи сидят с раскрытыми клювами. В зелени деревьев, словно мыши, ползают мухоловки. Мне ясны основные соотношения жизни — жертвы и хищники, снова жертвы и снова, как ступени, хищники. Наверху этой лестницы стоит победитель — человек.

Он высок, он император, он первое лицо на Земле. И — грустное лицо. Почему он так одинок здесь, почему равного ему в природе нет?

2.6. Рыжий, жалкого вида кот пошел в сени (опять я был у знакомых, опробовал лопату-бумеранг). Кот шел с оглядкой.

Курица, ловящая червяков, увидела его. Она бросила свои земляные раскопки и тоже пошла в сени. О чем она говорила с котом, я не знаю, но сначала из сеней с максимальным достоинством вышел рыжий кот, а за ним твердо ступала белая курица. Из нее так и выпирал самоуверенный характер. Это же смешно — видеть личность в птице.

Прорабатываю тему железной планеты.

5.6. Отцвели яблони, опал их цвет. Всюду лежат лепестки. Кажется, это умерли все на свете белые бабочки.

Жуткое ощущение! Умереть — значит не вернуться. Я тоже умру, не достигнув своей родины. Где она? В городе?.. На зеленой природе? На планете, выкованной из железа, что снится мне еженощно?

В моих снах она похожа на шар поседевшего одуванчика. И я не знаю, просто ли снится она или это вызывает гроздь моих будущих изобретений.

Я знаю, я одинок, я всем чужой, мне предельно тоскливо.

К вечеру похолодало и прошел дождь с ветром. Так — сначала ветер угнал яблоневые лепестки, затем дождь помочил все. И мокрый, холодный, почерневший асфальт вдруг задышал, завихрился, зашевелился белыми дымками.

Я увидел на нем десятки бегущих легких фигурок. Вдруг одна из них, повернув ко мне странное лицо, крикнула:

— Добрый вечер, Арбукез! Давно тебя не видно.

И сам я бежал, ветер толкал меня в спину, а я не мог остановиться. Потом я вернулся и увидел самого себя, тупо глядящего вдаль. До предела глупая рожа!

6.6. Мир Земли чудесен! Он состоит из вложенных друг в друга миров. Они сочетаются. Например, у куста сирени — там гнездо горихвосток — лежит черный кот. Он уверенно смотрит наверх, на суету птиц: съем! А я вижу его связь с птенцами, и связь птиц с насекомыми, и связь насекомых с растениями, их связь с микробами, а тех — с животными.

Я стараюсь проследить перемещение земной энергии от одного объекта к другому.

Фокус жизни — перемещение энергии.

Фокус техники — создание энергии.

Опираясь на технику, человек начал путь особого существа. А конец пути?.. Он представляется мне в виде освобожденного разума, человека, вертящего солнцами. Высшим усилием человека будет создана вторая, особая, вселенная. Это цель! Это работа!

12.6. Завтра на службу, и сегодня я вышел на реку половить язей. Ловил их на личинку жука-носорога (торгует ими старик, 10 копеек штука).

Лодка у меня складная, легонькая, стекловолокно плюс мини-двигатель. От горизонта набегают мерная зябь.

Я качаюсь в лодке. Волны несут и несут ко мне бесчисленные зеркала. Я же прислушиваюсь к колокольчикам: донок, жду поклевку.

Суета видений и мыслей ушла вчера, и тоже ударом. Зеркало чудных видений погасло. Но они же меня посещали! Они были.

Было небо с тысячью солнц, мерцание цветов в сумерках и фигурки, что бежали передо мной по асфальту. Было и ушло. Теперь я вполне нормален, я живу в мире, требующем рационализации.

Но какой? Может быть, сращение себя с машиной?

Тогда я сразу уменьшу число комбинаций, то есть изобретений, на один порядок.

24.6. Перечитал все и... удивился. Прими я всерьез этот бред, то мог бы пойти к психиатру. Или дать в некую звездную туманность следующую телепатограмму:
«Адрес: Звездная Туманность, планета Железо-пластмассовая.

Текст: человечество вступило на путь научной техники и не свернет с него. Оно идет логичным и ясным путем. Сейчас люди — это существа, управляющие механизмами, приделавшие себе крылья, колеса и двигатели. Затем они превратят себя в кибергов, чтобы безгранично продлить свою жизнь.

СООБЩЕНИЯ В СИСТЕМУ ТУМАННОСТИ 333

«Арбукез Мобешти — Всесовету. Нахождение зонда в мозгу изучаемого объекта показало, что данные существа готовы повторить наш путь: существо — механизм — киберг — постройка Железной планеты — проникновение во вселенную. Прошу на Всесовете обсудить возможность предупреждения данных разумных существ опасности пути. Также требую передачи секрета телепортации».

«Всесовет — Арбукезу Мобешти. Относительно помощи людям в телепортации. Действуйте осторожно, иначе отнимете гордость поиска и находки».

«Арбукез Мобешти — Всесовету. Передаче секрета нет необходимости. Григорьевым переброшена мышь через стену. Кристаллы недостаточно чистые. Работа кристаллами попала Высокой Науке. Отыскиваются общие закономерности. Переместили на метр грамм золота. Создаются НИИ телепортации, буями — ретрансляторами не спешите».

«Всесовет — Арбукезу Мобешти. Относительно докторов и кандидатов — кто они?»

«Арбукез Мобешти — Всесовету. У людей кандидат — это ихневмон, а краугот — доктор наук. Ихневнонов больше, чем крауготов».

«Арбукез Мобешти — Всесовету. Относительно создания НИИ телепортации. Создано более тысячи по числу добытых кристаллов. Исследуются возможности очистки».

«Арбукез Мобешти — Всесовету. Относительно практической телепортации. Чудаки-изобретатели предприняли попытку воздействовать вибрацией на кристалл. Григорьев, прозываемый технарем, интуитивно решил задачу — при наличии батареи от фонарика и массажного аппарата перебросил пачку сигарет через город ихневмону Приходько. Ученый мир взволнован, и сверхкраугот Бахтин включился в работу. Всё упирается в очистку кристаллов, земная химия не скоро справится с этим. Но прошу обратить внимание: пришлось сократить гипотетические сроки».

«Арбукез Мобешти — Всесовету. Относительно кристаллов. По месту находки на территории Сибири они названы сибиритом. Я их видел, работаю в лаборатории простым котом. Они малы, чтобы привести в колебание атомную решетку человека и затем наложить ее на световую волну».

«Арбукез Мобешти — Всесовету (срочное!). Относительно телепортации. Найдены гигантские чистые кристаллы на территории Эвенкии, они решат вопросы телепортации. Приступайте к постройке бுவев. Хочу спасти вышеозначенного находчика кристаллов, он упал, тяжело ранен».

«Арбукез Мобешти — Всесовету. Относительно выговора за вызов Блистающего Шара без согласования. Необходимо медицински помочь человеку, но сохранить в тайне пребывание Блистающего Шара. Находчик Мохов принял его за галлюцинацию, отбрасывают обвинения во вмешательстве. Сообщаю запись разговора человека с психиатром (зигрисом).

— Вы, говорят, видели что-то необычное.

— Видел.

— Что же это было?

— Мои грезы да кристаллы.

— Но там оплавлен гранит. Не могли там оказаться пришельцы?

— Там просто упал метеорит».

«Арбукез Мобешти — Всесовету. В дополнение к ранее сообщенному. Технарями похищены большие кристаллы у крауготов, ведется работа по транспортиции. Установлено: вышеупомянутый Григорьев уже перемещается из дома в мастерские НИИ с помощью карманной установки. ...Относительно нарушения режима запрещенной охоты четвероногое медведь. Прошу заставить миннигов вернуть медведя, справлюсь один, если будет разрешение перемещаться во времени».

«Арбукез Мобешти — Всесовету. Относительно крауготов и ихневмонов. Защитили десять тысяч диссертаций, описывают переброски одного грамма вещества на один метр. Сверхкраугот Бахтин собрал множество чудак-изобретателей, а крауготам заявил: их науку может родить факт транспортиции, как астрономию родил чудак — изобретатель подозрной трубы».

«Арбукез Мобешти — Всесовету. Относительно времени первой транспортиции. Может быть осуществлена

через сто лет. Бахтиным подключены к работе писатели, они пишут о мучениях чудаков-изобретателей, ярко показывают возможности телепортации».

«Арбукез Мобешти — Всесовету. Относительно открытия телепортации объявлено: не осуществится никогда, доказано крауготами: человек прибудет на другую планету мертвым. Возмущен, прошу разрешения открыться людям».

«Арбукез Мобешти — Всесовету (сверхсрочное). Относительно телепортации собаки на спутник Земли — всё прошло удачно».

«Арбукез Мобешти — Всесовету. Относительно сверхкраугота Бахтина. С помощью толкача Нехалова, добывшего материалы, построена машина телепортации, изобретение Григорьева. Может телепортировать человека, по требованию крауготов машина опечатана. В плане намечены тридцать лет опытов над животными — для выработки теории».

«Арбукез Мобешти — Всесовету относительно телепортации лабораторной кошки Улианы — всё прошло удачно».

ДЕСЯТЬ МИНУТ ГРИГОРЬЕВА

Дежурил у машины Семушкин, человек покладистый за бутылку арманьяка. Он и пустил их в башенную пристройку, к Машине. И когда все уже было сделано и Григорьев лежал в машинной, Бахтин спросил его шепотом:

— Жене позвонить?

— Моей?

— А чьей же? — поразился Бахтин.

— Не надо звонить, — пробасил Григорьев.

— Ты хоть намекал ей? — заинтересовался Бахтин.

Григорьев промолчал, и Бахтин ушел. Но приткнулся к двери и стал глядеть в специально проделанную им дырочку. Телевизорам он не доверял. А в машинной оставаться не разрешалось.

Бахтин стоял, изолировавшись резиновым ковриком, а Григорьев остался один. Ему было как-то не по себе. Не то чтобы он боялся, нет... Он покосился на дверь.

Гм, дверь... Обита, за ней стоит Бахтин и... ждет. Чего?.. Успеха, конечно. А кричать не нужно, микрофон держит черное свое ухо рядом с губами, он настороже...

Микрофон караулит все его слова и, быть может, предсмертный крик. В него сейчас можно сказать Бахтину (и Машине): «Знаете что? Идите вы все к черту с вашей телепортацией, я пошел домой, изобретать буду, но летать не стану». А кто станет?.. Вдруг это больно? Собака и рвалась, и визжала.

— А я не заору, — пробормотал Григорьев. — А Мария? Вот бы увидела.

Спина устала. Григорьев попробовал ворохнуть и лечь хотя бы на бок. Но Машина держала крепко.

Снизу она напирала резиновой холодной губкой, сверху жала крышкой.

Со стороны это походит, Григорьев знал, на стеклянный саркофаг.

Над Григорьевым нависала голова Машины. Он видел медленно шевелящиеся ее части и морганье индикаторов. Да, сработано все на высоком уровне, чисто и аккуратно.

Добротная вышла штука, хорошие работали мастера — со всех заводов Сибири. И отлично всех увязал Нехалов.

— Ты поосторожнее, — сказал он Машине.

Она гудела, а Григорьев размышлял.

Он вспомнил, что, хотя ее общую схему придумал он, Машина и конструировала, и частью делала себя сама. Что даже Бахтин не все о ней знает. Но эксперименты с собаками шли стопроцентно удачно, а кристалл в ней был великолепен.

Но может быть и неудача — по теории вероятностей.

Есть такая теория. Умная. Она не соврет, об этом все говорили: Бахтин и другие. Главное, конечно, Бахтин...

Гм, откуда выскочила эта цифра, еще и зеленая? А-а, сейчас Машина будет собирать в нем информацию, всюду заглянет, все прощупает. Вот черт!

Она узнает о нем больше самой Марии. Смешно?.. Не очень. Информация уйдет в ту черную пятиэтажку без окон, что вертит на крыше антеннами, которую окружает лес столбов с толстыми проводами.

— Валяй, Машина! — сказал Григорьев. — Валяй! Что тянуть?

Сказал — и ощутил поклевыванье в кончиках пальцев, потом в руках до плеч, в ногах, в кончиках пальцев. К Григорьеву пришло странное ощущение, словно бы он таял дрожа. Ему стало страшно, захотелось крикнуть и убежать.

Телесный испуг промелькнул в нем. Григорьев знал, что сейчас он и в самом деле по-настоящему перестанет быть здесь. И возникнет совсем в другом месте. Григорьев презрительно улыбнулся страху тела.

— Дрожишь, протоплазма, — сказал он, видя, что ноги его тают, словно размазываются в сумраке комнаты.

Сначала, как оно и положено, исчезли пальцы, затем ступни. Когда подошли толстые берцовые кости — загудело сильнее. И нарастал пронзительный и чужой звук.

Откуда он?.. Что это?.. Что-нибудь с Машиной?.. Но аварийная лампа темна. А-а, это крик! И вдруг

в синих вспышках индикаторов он увидел на выпуклости шаровой головы Машины чье-то лицо.

Дикое! Выпучены глаза, распахнут рот, переднего зуба не хватает. И Григорьев понял — это он, его лицо, его зубы, он кричит, но... зачем кричать, боли нет.

И ног уже нет, и туловища, осталась одна голова. Последним поворотом своего тающего глазного яблока он увидел ряд прозрачных саркофагов одинакового размера, с одинаковыми Григорьевыми.

«Орешь, тело?.. — мысленно спросил Григорьев. — Визжишь?»

И все прекратилось — и страх, и крик, и он сам. Григорьев ощутил, что разбухает быстро, стремительно.

Увидел набегающую на себя стену, зажмурился — и пронесся сквозь нее.

Теперь он стоял на улице: нагой гигант стеклянной прозрачности. «Ничего себе, разбарабанило Мишку», — весело подумал он. Да он ли это? Вот здесь перелом кости. Хорошо срослось (он наклонился и увидел в себе тени жил и костей). А сквозь ступни ног просвечивает город. Григорьев поднял руку — сквозь ладонь замигали ему дальние звезды. Вот бы туда... Ничего, терпение...

Он потянулся к Луне раскрытой ладонью, и космический корабль белой звездой прошел сквозь его ладонь. Сверкнули желтые иллюминаторы. В одном торчало широкое лицо с расплюснутым носом — человек смотрел на него, должно быть, не веря себе. И рот открыт.

— Опуел, — сказал ему Григорьев и пожалел, что таким его не увидит Мария. Это бы очень помогло в семейной тряской жизни.

— Надеюсь, меня снимают.

С высоты Григорьев увидел зарево приближающегося утра. Шагнул навстречу ему. Случилось то непонятное, что с тех пор называют эффектом Григорьева. Он остался на месте, из него вышел второй Григорьев. Он

шагнул и тоже замер. Затем вышагнул третий, четвертый... Этот последний увидел, что ноги его уже стоят на лунной горе. Той самой, которую Бахтин указывал ему пальцем на карте, еще они очертили ее синим кружком.

— Даже разброс в десять километров будет хорош, — говорил ему Бахтин.

— Ух ты! В точку!.. — вскрикнул Григорьев и присел уже в своем обычном размере.

Плотный и жилистый человек, он сидел на лунном камне. Не прозрачный, нет, а вполне вещественный. Только вот голый, и дыханья нет, хотя грудь и колыхается.

Где время?.. Вот оно, на руке, в виде часиков с одной только стрелкой и тонкой красной черточкой. Стрелка — толчками — ползла к этой черточке. Гм, гм, время идет, и надо спешить.

Но это же Луна!.. Именно она — и тени черны, и небо. А камни легкие. Попрыгать, что ли?.. Говорят, здесь легко.

Григорьев встал и почувствовал — роботы уже близко, они спешат к нему. Вот глухой и далекий взрыв и гул, ощущаемый и сквозь камни. По-видимому, это работают сейсмороботы.

Или упал метеорит?..

Луна!.. Вот черт!.. Но к Григорьеву подошла историческая кошка Улья и потерлась о ногу.

Ульяна прославилась своей дракой с первой лунной собакой. Дрались они перед телекамерой, Григорьев смотрел и не знал, что ему делать — смеяться или плакать. У жены сомнений не было, она плакала и жалела зверей.

— Бедная, маленькая, экспериментальная, — говорил он, глядя Ульяну. — А все же поразительно: солнце косматое, сердитое, звезды, кошка...

— Лунная, грязная, бедная..

Из-за камней вывернулся робот. Суставчатый и сверкающий, он здорово смахивал на алюминиевого паука и

был потрясающе подвижен. Идя к Григорьеву, он работал — карабкался на камни и энергично, только клочья вверх летели, разгребал лунный мох.

Он подбежал к Григорьеву, присел на задние лапы и выставил две передние. У этого робота вполне приличная сохранность: башенка с глазами легко крутилась, светился красный индикатор и какая-то трубка. А-а, телекинез. Значит, Бахтин организовал передачу. А он голый. И Григорьев торопливо прикрылся.

Мелькнули искры между рожками антенны робота.

— Сигналит, — догадался Григорьев и шагнул к многоножке — дырочка на корпусе, палец войдет. Что это?.. Метеорит ковырнул?

Многоножка попятилась от его пальца, и Григорьев опасливо покосился на лунное небо. Кошка пропала в камнях, лоя свою тень. А со всех сторон торопились к Григорьеву роботы. Штук двадцать. Половина их были многоножки, четыре суставчатых. Прочие двигались на колесах.

Последним шел большой, коробчатый робот-матка. Он направился к Григорьеву. Подъехал и спросил:

— Вы кто?

Григорьев объяснил.

— Запрошу информацию, — оповестил робот, выпуская антенну и мгновенно втягивая ее обратно. Откинулся борт.

— Садитесь в кузов, — сказал он. — Изолируйтесь резиновым ковриком. Инструменты в кузове. Требуют осмотра механизмы за номерами 102, 576, 981, 983. Ремонт нужен номеру седьмому и от сто второго до сто девятого. Актом списан механизм за номером 13. Телепрограммы вашей работы поведут роботы номер 75, 101, 1001/бис. На всех телеканалах («Это, конечно, устроил Бахтин. А не предупредил, хитрец!»).

— Я же не одет! — возразил Григорьев.

— Изолируйтесь ковриком.

Из-за скалы опять выбежала кошка. К нему? Нет,

за ней гнался Второй Лунный пес, дворняга. Он разевал пасть, будто лая.

— Фью, фью, — засвистел Григорьев, но те скрылись в тени. Да и не услышали бы.

Откинулся задний борт. По нему к Григорьеву вползла многоножка. Одна лапа ее волочилась — сломана. Григорьев сделал юбочку из запасного коврика и взял в руки сварочный аппарат.

— Теперь можете и по всем каналам...

У трех роботов оказался пробой метеоритом, у остальных было нужно сменить отдельные стандартные блоки. Он не был механиком, но с делом справился. Этот ремонт, конечно, придумал Бахтин, как доказательство возможностей.

Григорьев торопился — стрелка спешила к черте. А тогда кончится запас энергии. Скоро кончится.

Работая, он говорил машинам:

— Однако вы хорошо сработаны, почини вас, и еще надолго годитесь.

Роботы теснились вокруг Григорьева. А один, бойкий, целился кинокамерой.

— Для потомков? — спросил Григорьев.

...Все больше и больше роботов присоединялось к ним. Они желали рассмотреть Григорьева.

— Смотри, настоящий человек.

— Ему бы добавить конечности.

— Как лунный микроклимат? — спрашивали они.

Стрелка подходила к красной черте — Григорьев положил инструмент.

И вдруг рассыпался — синими искрами. Исправленная им многоножка № 1001/бис сходила на каменистую почву, а робот-матка запросила по радио новые запчасти с Земли.

...Григорьевы стояли — все четверо, — переглядываясь и пересмеиваясь. У ног их низкой травкой румянились лес и клубились белесые туманы, покрывая кубики домов.

Вдали Григорьев увидел проступающий блеск гор Путорана и тусклые нити таежных речек. Он подумал, что было бы хорошо помотаться по государству, сесть в авто с Марией и ринуться в путь. Теперь он его купит, и на весь отпуск ринутся они во все колеса.

Хорошо! Теперь это возможно — Машина работает, теперь ему дадут очень долгий отпуск и приличную премию: Бахтин обещал. Он такой — скажет и обязательно сделает.

...И вдруг все стронулось с места, все кинулось в лицо Григорьева единым мощным броском. А выбежавшие люди снизу видели, как пронеслись к антеннам светлые пятна. Исчезли.

Они слышали, как Машина взревела один раз, второй, третий, четвертый. И каждый раз вздрагивало черное здание, дрожали стаканы и посуда на полках всего города, и что-то отзывалось в каждой человеческой душе сладкой и манящей тревогой.

...Машина стихла. Голова ее шевельнулась и, урча подшипниками, отползла в сторону. Но проблески индикаторов бесконечно продолжались, так как Машина все время была под током, ее не полагалось выключать.

Григорьев лежал и не шевелился. На него, захлестнув и смяв, вдруг обрушилось все увиденное, чему он не удивился сразу из-за поспешности, — слепящий блеск лунных пород, косматое солнце, лунные кошки, собаки, роботы... Мозг Григорьева отчаянно защищался от чрезмерности увиденного, это родило непереносимую боль в голове.

И тут клацнула дверь. Далее же было все так, как они с Бахтиным рассчитали. Вошли медики, люди в белых халатах (приехали на «скорой»). Хрустящие, стерильные, незнакомые. И — величественные, так как осознали момент.

Один нес в ванночке здоровенный шприц и вату. Откинув крышку саркофага, он мазнул холодком по руке Григорьева и — ударом! — воткнул иглу.

Григорьев даже зашипел от резкой, шипучей боли. Потом он ворохнулся, желая встать, и говорил им, что все нужное сделано. Починил роботов, но вот собака и кошка Ульяна...

— Мы все уже видели, видели, — сказали ему. — Был телерепортаж, с постелей нас всех поднял. Мы же были на дежурстве.

— Там кошка и собака.

— Лежите, лежите, — велели они.

(А к нему катили телеаппарат.)

— Их надо забрать.

— Спокойней, спокойней.

Подошел беленький старичок (за ним вошли премолоденькие медсестры), положил ладонь на голову. Погладил.

— Как мы себя чувствуем? — спросил он тем голосом, которым разговаривают уверенные и удачливые врачи. — Все увиденное улеглось в сознании?.. Наступил покой?.. После мы поговорим, сейчас ждут корреспонденты. Надо подумать, первый космонавт без корабля. Каково? С ума... А? Как вы решились? Пустить журналов?.. Что вы им скажете?

— Пускайте, — разрешил Бахтин.

Ворвался первый журналист после борьбы в дверях. Григорьев видел в глазах академического старичка такое лютое любопытство, что даже сжался комом.

— Вскрыть бы. ...Ах! — прошептал старичок.

— Что вы всем нам скажете? — спросил журналист. — Ваши, так сказать, первые слова? Обращенные и к нам и к потомкам?..

Григорьев стянул лоб в гармошку: искал слова. Что он скажет всем на свете журналистам? Этим врывающимся волосатым разбойникам. Почему Бахтин не подкажет?..

— Это были лучшие десять минут моей жизни.

И тут ворвалась его жена.

Григорьев, увидев ее, не то чтобы испугался, а как-

то озяб. Люди в белых халатах быстро сгрудились в тесную кучку.

Бахтин пятился. Умный человек, все угадал — и пятился.

— Изверг! — закричала Мария. — Я тебя видела сейчас! Изверг! Молчал! А я не знала-а-а... — И, обернувшись, влепила Бахтину пощечину. Что увидели: а) коллеги, б) корреспонденты, в) телезрители всех материков, г) только что проснувшаяся его собственная жена (по телевизору).

А Григорьев не увидел, так как от страха зажмурился раньше самого момента удара и услышал только, как он говаривал впоследствии, «аплодисмент». За Марию уже цеплялись медсестры — молоденькие, в белых комбинезончиках.

Потом, конечно, Мария приходила к Бахтину извиняться с Григорьевым, чувствовавшим себя, так сказать, не в своей тарелке: стал знаменитостью!.. Вид он имел мятый, измученный, так как лежал в больнице и его обследовали.

Бахтин повел себя умно и соответственно положению. Даже шутил. Но, улучив момент, он с надеждой спросил Григорьева:

— А тебе?.. Тоже досталось?..

— Она мне дома устроила, — шепнул ему Григорьев, с любовью глядя на жену. — Полный запуск на трехступенчатой ракете с взрывом. Но вот такая идея, как вы на нее посмотрите?..

И, отойдя в сторонку, они зашептались...

«Всесовет — людям от 2 июля 1982 года земного времени. По поводу включения планеты Земля в Ассоциацию Свободных Планет. Через Полномочного Представителя Супер-Краугота Арбукеза Мобешти мы передаем низкий поклон Земле-матушке и приглашение на межпланетную конференцию системой межпланетных

буев. Обратное возвращение делегата гарантируем. Поздравляем с невиданно быстрым выходом в звездный космос».

Заявление ООН от 12 июля 1982 года. В связи с приглашением участвовать на Межпланетной конференции считаем единственно приемлемой кандидатурой академика Бахтина. Сообщаем некоторые подробности о первом делегате-астронавте методом телепортации. Павел Григорьевич Бахтин родился в таежном поселке в Нарыме, вышел из среды так называемых охотников-промысловиков. Показав незаурядные математические способности, в пятнадцать лет он поступил в институт, в двадцать стал академиком, в двадцать девять принял участие в разработке телепортационной системы в то время, когда ведущие ученые мира не поверили в возможности телепортации и дело двигали несколько изобретателей. Назовем ведущего, Михаила Григорьева, что стал Первым Космонавтом Без Корабля.

Срочная. Новосибирск, ул. Белинского, 106.

Бахтиной Надежде Петровне.

Дорогая мама выдвинут делегатом межзвездный первый съезд отправляюсь вечером пробы буев. Не волнуйся сто процентов надежности. Целую Павел.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЛИКАЯ ОХОТА

ИСКАТЕЛЬ

(1-е предисловие составителя)

Спасительно размышление... Передавая Издателю собранные материалы, я спохватился, подумал... и решил предварить пояснением записки клана охотников — Коновых.

Описывая труды отдельных кланов в многовековой истории покорения космоса и прослеживая их направленную в столетиях работу (планетная инженерия, систематизация и т. д.), я и натолкнулся на записи Коновых.

Они были найдены мною в архивах Всесовета. Я поразился длительному замалчиванию донесения Конова-Искателя (отдел непроверенных донесений, полка 454567, гнездо КО (5241 кристалл № 2454567245679). А уже затем мною были затребованы кристаллы, переданные в архив Коновыми — Охотником и Изобретателем. Прошло немало времени. Я читал Конова совсем молодым человеком (46 лет), а возвратился к истории Коновых лет через шестьдесят.

Мною уже были закончены хроники клана Сафаровых-Музыкантов и клана Савиных-Целителей.

И тогда пришло время Коновых. Хотя и сказал мне Главный Архивариус Всесовета:

— Коновы?.. Эти под сомнением; помешались на поисках Первичного Ила. Учти, их никогда не принимали всерьез.

Возвращаюсь к донесению Конова-Искателя. Впервые человек (в лице Конова) обнаружил изначальное вещество жизни.

Я утверждаю: лишь особенные свойства гравитационных сил в том звездном секторе могли удержать планету вполне готовой к зарождению, но безжизненной.

Лишь гравиконон смог укрыть ее поверхность от падения биологически активных аккреций и посещения звездолетов-роботов.

И только своеобразие физических условий планеты Фантомов помогло Изобретателю переделать ее в планету Великой Охоты (если верить его потомкам, мечтавшим воссоздать где-нибудь ту землю, на которой их предки охотились).

О планете Фантомов, как все называют ее, мы имеем записи разных людей клана: Изобретателя, Искателя, неукротимого Охотника. А также сообщения экспедиции «Надежды».

Коновы первыми столкнулись с планетой Фантомов. Они не просто открыли ее, изменили! Мы не всегда можем доверять им фактически, но эмоционально они правдивы: за свою правду они платили жизнью.

Воспроизведение их записей будет сопровождаться в нужных местах пояснениями и примечаниями.

Первыми я представляю записки Константина Д. Конова, Искателя. Его кристалл найден в ракетном зонде, он является единственным документом, проливающим тусклый свет на таинственную гибель экипажа «Нервы». В нем впервые упомянуты планета Фантомов и Первичный Ил.

«Звездолет «Нерва» 2256 года Земного летосчисления, 23 июля. 14 часов.

...Он стоит и ждет. Я знаю, он видит и слышит то, что не дано видеть мне. Например, далекое тепловое излучение. Зато я могу приказывать. Как только мы развили скорость диссипации и оторвались от планеты, я разрушил блок запретов, и робот (серии 12 12/III) стал моей судьбой.

Он делает все, что я прикажу. Пока что он не пускает ко мне Тех: его лучемер нацелен на дверь.

Трубы воздушного обмена я перекрыл.

О, я не глуп! Если те захотят усыпить меня, они не смогут впустить газ. А когда я кончу запись, робот откроет мне другую дверь. Ту, за которой космос с невыносимым горением звезд. Это мой приказ. И когда легкие мои лопнут, а я умру, он пустит ракету, маленький снаряд. (Я вложу в него кристалл.)

Итак, впереди шесть часов, у моей судьбы плоское полированное лицо. (Те все колотятся за дверью. У-у, проклятые! Ненавижу...)

...Надо спешить, нужно записать, иначе мне не поверят. Я сам не верю себе!

Итак, мечта всех Коновых осуществилась, я открыл Первичный Ил, нагнул и поднял комок. Глина? Нет, странно тугая слизь. С нею я ушел в станцию (на планете, пока роботы чинили ракету, я жил в станции).

Я миновал шлюз и положил комок на стол. Разделся, и, когда жар ушел из тела (отопление скафандра опять разладилось), я опробовал на комке слизи действие электрического разряда, кислот, щелочей. Спектрография!.. Химический анализ!.. Да, оно живое по составу!.. Слизь может ожить, в ней все двадцать аминокислот.

Это действительный Первичный Ил (и конец моего пути Искателя). Теперь нужно узнать, на какую глубину пропитывает планету этот студень? Почему здесь нет вулканов? Гроз? Отчего так много закиси азота в воздухе — 70 процентов?

А Те?.. Что-то затихли... Однажды и я ломился к ним. Они только что выбрались из земли и вошли в ракету. Заперлись.

В скафандре я подбежал к ракете и ударил по ее костылю. Гул прошел по ракете. Затем я попытался высадить люк. Я бил молотом, и удары оставляли вмятины. Смирило меня такое соображение: «Ракета должна улететь, унести весть о находке...»

Да, ракета должна увезти все, что я собрал здесь, даже Тех, чего бы мне это ни стоило.



Опять стуки!.. Они работают?..

— Подумать только, я здесь схожу с ума, а они стучат! Ничего, я еще скажу, кто они такие. Такими словами:

«Не я превратил мертвецов в живых людей, это сделал Первичный Ил. В горе я закопал убитых друзей. Хоронил, желая, чтобы они воскресли. А теперь я то рад, то страшусь, то хочу их истребить, то увезти. Откуда я знаю, кто они теперь? Они — это мои друзья?.. Не уверен».

О проклятая планета!.. Клеточные матрицы их тел, информация ДНК задали программу Первичному Илу... Как обрадуются ему все наши! Кончились их скитания!

...Я сижу в кресле и наблюдаю в иллюминатор. Во-первых, звезды: их на планете я не видел. Даже свет не мог пробить гравикокон.

Сколько горючего сожрала эта гравитационная западня! Но не зря я сидел на планете, не впустую работали мои роботы: мы поставили котел и вырабатывали плутоний. Затем шла другая реакция: пока амазоний не будет накоплен, мы не разорвем гравикокон.

А Те?.. Открыли люк и снова вышли в космос. Они заглядывают ко мне в иллюминатор, они стучатся, зовут.

С ума сойти! Неужели они так ничего и не поняли? Даже когда вылезали из рыжей грязи?

...Как это началось? Так — я положил лопату, с ненавистью разглядывал ржавую поверхность (еще не зная, что здесь Ил). Планета была до отворачивания гладкой и ржавой. А друзья мои по долговому путешествию лежали. Грязь, что попала на их лица, была ржавого цвета.

Погибшие друзья... Я должен хоронить их. Все же земля. Роботы вынесли всех четверых. Теперь я готовился зарыть их.

Я копал — ржавого цвета Ил резался лопатой, как застывшее желе. Он истекал солоноватой влагой.

Плоть моих друзей войдет в это сусло и растворится в нем.

Я сел и смотрел на них.

Мы всегда были рядом, только на подходе к планете, к ее солнцу, вдруг вынырнувшему из черноты, я оказался в лаборатории, а они — в рубке. Ее-то и разбил осколок планеты, громадный камень.

Одно меня утешало — умерли они мгновенно. Но чего бы я только не дал, чтобы видеть их снова веселыми и бодрыми.

...Когда яма стала мне по плечо и пошла упругая земля, я похоронил их и ушел к ракете: она стояла на перекошенных костылях, роботы с магнитами ползали по ней и чинили ее.

Я приказал — роботы выволокли мне станцию и поставили в отдалении. Я вошел и без сил, в полном отчаянье, рухнул на пол и так лежал. Тоска!.. Я зажмурился, но лишь отчетливее видел края пробоины, солнце, планету.

Будьте вы прокляты, убийцы! И впервые я, профессиональный Искатель новых планет, почувствовал желание убить.

Я убил бы планету, если смог! Тогда, еще не зная о Первичном Иле.

Тоска... А роботы стучали. Если не удастся починить ракету, я умру на этой планете. Найти нас не смогут — радиосигналам из этой ловушки не пробиться, а мы не успели скинуть предупреждающий буй.

Я не знал еще, что ждет меня.

Я не знал, что случится здесь. Кроме одного: нужен месяц работы атомного котла. Тогда я смогу пробить гравикокон, пустив в ход всю мощь звездолета, чтобы унести добытое знание.

...Я не познал еще сладкий, сжимающий сердце ужас. А незнание, если верить древним мудрецам, —

основа человеческого счастья. Выходит, тогда я был счастлив.

...Меня даже не радовало открытие Первичного Ила. Хотя мы, Коновы, уже лет двести искали его для планетарных генетических работ. Но все же именно я, Конов, нашел Первичный Ил. Тот, что миллионы лет ждет семена жизни.

Все, все отрицали Первичный Ил, но мы, Коновы, предвидели эту находку.

Искали повсюду.

На любой ракете, уходящей в неисследованный сектор, был Конов — в любой должности, командор или повар.

Или, как я, Искатель.

...Так случилось, я ушел в лабораторию. Там прочитывал очередной кристалл моей карманной библиотеки: охота на львов. Но взревел аварийный сигнал, и меня бросило на переборки. Однако кресло успело схватить и удержать меня.

И тогда я увидел гравикокон.

Я видел то, что еще не было дано увидеть никому: из черноты медленно выходило солнце. Бронестекло было притемнено светофильтром, я увидел, что солнце выходит узким серпиком. А затем удар — ледовый экран распался, мы летели беззащитно. Затем снова удар — осколок планеты...

Но автоматы уже выводили ракету на орбиту. Она вращалась вокруг солнца, пока я не пришел в себя. Тогда влез в скафандр и проковылял в рубку: зияла пробоина, свет проклятого солнца пробежал по стенам, а в креслах сидели четверо мертвых друзей.

Роботы сделали то, что полагалось делать согласно Инструкции при Встрече с Неизвестным Космическим Объектом. Они зарегистрировали эту солнечную систему, вдруг вынырнувшую из тьмы. Затем посадка...

Я надел кислородную маску и вышел искать место для могилы. Под ногами чавкала студенистая грязь.

Я шел по землистому киселю, не подозревая, что здесь, в гравитационной ловушке, спрятан девственно чистый Первичный Ил.

В нем я и похоронил друзей, в нем они ожили, нагнав на меня непреодолимый ужас.

Теперь они страшны мне, а меня считают безумным.

...Наконец-то звездолет порвал сеть гравитационных волн, мы в космосе. Те — живут!.. Я слежу за ними, всюду мной наставлены телекамеры.

Они — люди. Хотя я и видел их, вылезая из земли (озирались, долго кашляли, обирая с себя липкую грязь).

Они живые, но я не верю им. Мне кажется, они лишь спрятали свою непонятную сущность, та в любой момент может проступить сквозь человеческую маску. Предположим, Ил взял информацию их тел. Но как он мог воссоздать память?.. Мозг?.. Нет, это фантомы.

...Есть и другой выход: ракетная шлюпка. Я могу сбежать от них. Но куда? Зачем? Пусть робот откроет люк — я выйду в космос как есть. Мы разминемся навсегда, я и экипаж звездолета. Они полетят на землю, я же — мертвым — поплыву в глубинах космоса.

...Они ломятся ко мне, они бьют в дверь, а я не решаюсь приказать роботу применить луч. Срочно готовлю ракету.

..:Они вошли, прячусь в аварийном отсеке. Я закрыл отсек изнутри, но слышу их голоса: они зовут,

окликают меня. Но теперь я точно знаю: у них чужие лица.

Пущу ракету сам — они блокировали робота».

Радиограмма: Всесовет — звездолет «Нерва». «В приступе депрессии хотел покончить жизнь самоубийством К. Д. Конов. Теперь он выздоравливает. Все переданное им просим не принимать всерьез. Он долго находился в неменяемом состоянии. Не верьте ему, не верьте! Мы люди, а не фантомы.

Даутри, командир.

Антон Подорыки, штурман.

Михаил Совский, Роберт Кукла (команда)».

Радиограмма: Всесовету — звездолет второго класса «Тайга». «Встречена дрейфующая без экипажа «Нерва». Судя по всему, покинута в спешке, перед взрывом двигательной установки. Спасательные шлюпки на своих местах, аварийный запас пищи и баллоны кислорода не тронуты. Командир Веселов».

Из письма Конова-Изобретателя: «Я думаю, мне нужно будет обязательно принять (подчеркнуто дважды) во внимание способность Первичного Ила к полтерии, то есть созданию материальных фантомов».

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

(2-е предисловие составителя)

Есть семьи с направленным действием. Тому примером Музыканты и Целители. Иногда случается такое в Науке. Мы можем отметить способности, передаваемые по наследству: интуиция, особенности устройства слухового аппарата и т. д.

Или страсть. Пример — Коновы-Охотники.

Их клан связал свою деятельность с космосом. Он имел ряд качеств Охотников: хладнокровие, быстроту сообразительности, твердую решимость, особенную

зоркость. Поэтому они и добились успеха в поисках Первичного Ила.

Все мы приходим от Древних Охотников. Но Коновы вкладывали страсть к охоте во все. Коновы охотились за планетами, космическими тайнами, своей мечтой, преследуя Недостижимое, как редкостного зверя.

Они столкнулись с планетой Фантомов. Дальнейшая история их рода тесно увязалась с этой планетой.

Второе — в истории покорения космоса трудно что-либо понять, если мы не рассмотрим фигуру Изобретателя.

Ракету создал Изобретатель, генетические химеры — тоже (они-то и помогли человеку освоить планеты).

Говоря о Коновых, мы должны отметить существование в недрах клана не только Исследователей и Ученых, но Изобретателей.

На планету Фантомов попал Конов-Изобретатель. Он прочитал кристалл предка и осуществил мечту клана: воссоздал непонятным еще способом земную жизнь. Но особенную жизнь.

Чтобы Первичный Ил вступил в первую фазу эволюции (конечная есть создание мыслящего организма), он должен быть живым. То есть потреблять химические продукты, для пополнения энергии питаться.

Он должен дышать, удалять вредные продукты, образующиеся в результате химических превращений в организме, заниматься самовоспроизводством, расти, увеличивая не только объем, но и усложняя себя.

Он должен двигаться, это увеличивает возможности жить, чувствовать, реагировать и т. д.

Первичный Ил имел (в составе) цепи аминокислот. Ему не хватало нуклеиновых кислот и ферментов. Предполагаю, Изобретатель ввел в него матрицы, которые стали формировать нуклеиновые кислоты и ферменты. Они-то и создавали организмы.

Но, быть может, было нужно только дать намек, зацепку Первичному Илу, насытить атмосферу кислородом. Тайны, тайны, тайны...

Возможно, Изобретатель расшевелил Первичный Ил, бросив в него генетические бомбы. Но тогда был нужен феноменально точный расчет.

Быть может, Изобретатель, в душе и охотник, и любитель зверей, создал планету Великой Охоты такой, чтобы охота (то есть звери) жила вечно. Он знал: охотники будут всегда — и для них создана им планета Охоты.

Он умер — остался сухой перечень работ по уточнению состава атмосферы, обнаружению громадного процента закиси азота и ксенона, державших Первичный Ил в состоянии ксенано-азотистого наркоза. Первым его решением было решение изменить атмосферу. А вот отрывок записи, показавший ход его мысли:

Земля времен Великой Охоты?..

...«Но это же потребует миллионы лет, организация жизни, подобной земной, — времен Великой Охоты. Придется использовать политерию и...»

Умер он внезапно, его кристаллы были переданы Всесовету. Потом нашелся еще один кристалл, письмо к матери:

«Мамочка, не беспокойся! Мне нужно пробить на планете не более года. Тогда я бы все успел (ты понимаешь, что).

Когда мы ворвались в эти скрученные коконом грависилы, нас продирало с песочком. Я удивился, как удалось старому корыту предка вырваться отсюда. Затем ошеломляющее явление солнца из черноты.

Но я уверен, предок не врал. В сумке у меня были прихвачены нужные материалы. И мечта, гнавшая наш род к генетическому изобретательству, к восстановлению всего зверья Земли эпохи Великой Охоты (до 1900 года новой эры), близка к осуществлению: я на планете Фантомов.

Невиданная работа! На Земле делали пробы, выращивали в автоклавах зверей. Но не было материала, Первичного Ила, настолько изобильного, чтобы он включился в оборот веществ планеты. Жизнь — двойной процесс (и — симбиоз). У меня еще идея, даже ты ее не знаешь.

До встречи! Целую ту щеку, которая моя, не Наташкина».

(3-е предисловие составителя).

Теперь лишь мы понимаем, что Конов-Изобретатель был гений. Он полностью попадал под определение — гений может сделать все, что захочет. Он создал вариант жизни на планете, но свой, коновский.

ОХОТНИК

Ладно! Начну! Взрывчатка взорвалась, а в яму вполз робот-зонд.

Я подождал немного, затем вошел в просверленный им туннель.

Земля дрожала под моими ногами, урчал зонд, пламя его светилось. А вокруг остекленная стена, потеки, лопающиеся пузыри, оплавленная порода.

Это опасно — так идти, но я шел. Скафандр повышенной защиты не облегчал мое хождение. Потом робот взорвался.

Мы шли с ним вглубь — я дал задание сверлить не прямо, а наискосок — угол 30 градусов, — чтобы обойти скальные породы.

Но всюду был гранит, изрытый узкими ходами. Слово планету ели черви. Даже оплавленный, он не скрыл от меня эти ходы.

В них прорывалась магма. Она кипела, проявляла все признаки магматической жизни.

Мы шли... До ракетной иглы оставалось примерно километров пять, когда взорвался зонд. И пора,

он хорошо поработал, я считал часы его работы, мимоходом взглядывая на циферблат.

Зонд взорвался — все дрогнуло вокруг. Пронесся огненный вихрь. Я упал от его удара и лежал на спине. Струи огня пронеслись, стало горячо ногам, а губы мои вздулись. (Пламя было синим, около тысячи четырехсот градусов.)

Роботы-гномы стали поднимать меня. Неприятнейшее ощущение! Их железные лапы... Они поднимали меня, а стенки туннеля пузырились и просачивались магмой. Шевелились. Подумалось о смерти — они сблизятся и замуруют меня.

Не боюсь! Я — охотник и убил самую великолепную дичь в мире. Другой такой мне не найти, а жить без охоты я не могу.

Но туннель не сомкнулся, я спустился к зонду.

Бедняга! Сопла раскиданы взрывом, два из них впились в стену туннеля. Но охладитель еще работал.

Гномы повернули огневой щит, который нес зонд. Порода крошилась под ударами лучеметов, пары уходили по туннелю вверх. А вентиляторы гудели и гнали сюда воздух планеты. Дымы, принимавшие облики разных живых существ, чаще птиц, порхали в свете магмы и исчезали, уносились вверх. Наконец, щит задвигался. Спины гномов отсвечивали красным. А игла?

Я отозвал Эрика: темнели его глаза, расположенные поверху короткого безголового туловища:

— Начиная пробивать окружность радиусом в три километра.

— Хорошо, — сказал он.

— Торопитесь!

— Породы полужидкие.

Я приказал и ушел. Поднимался вверх против твердого потока воздуха. Рядом ползли дымные волокна.

Я попытался поймать одно — не удалось! И мне хотелось знать, что я скажу всем тем, кто скоро будет здесь?

Я вышел — пустынно, желто. И дым из шахты валит тоже желтый. Поглядел на газовый анализатор — состав атмосферы быстро менялся. Газовая оболочка будто удалилась от планеты. Это походило на последние вздохи больного... Ил?.. Я нагнулся и взял ком глинистой слизи. Всегда он был приятный и упругий. Теперь же покорно мялся в руках.

Это уже глина: Скоро она высохнет и будет мертвой пылью. Зато я мог видеть мелкие отверстия, уходящие вглубь. Раз, два... Да их здесь миллионы! Но... живой он или мертвый?.. Я должен узнать это.

Я мял Ил, отрезал куски его. Унес в станцию. Их размещал в пробирки.

Что же случилось, в конце концов? Чему могла повредить ракетная игла? В тысячный раз я пробовал воздействовать электричеством, щелочами, кислотами — Ил не реагировал.

Быть может, он умер только здесь?

Но я слежу за датчиками, раскиданными по всей планете, — всюду то же самое.

Что еще? Новое землетрясение в южном секторе, пылевые бури на экваторе. Дальнейшее снижение кислорода приостановилось, зато так и прет закись азота.

Что там гномы?.. Ага, они подходят к игле, они уже рядом с ней, продвигают щит. Они зовут. Иду, иду! Я снова надеваю скафандр повышенной защиты. Словно рак-отшельник вползаю в его скорлупу.

Ну ладно, я стрелял и должен стрелять, пока есть хоть какая-нибудь дичь.

Я охотник, это в моих генах. Точно так же, как у Изобретателя был талант геного инженера. Научиться можно всему, даже растить пшеницу и вести ракету, но страсть, талант... С ними рождаются.

Такая усталость... Нет, не пойду к гномам, пусть vychиваются сами. Я разделся и сел в кресло.

В иллюминаторе темнело небо. Ночь?.. Так быстро?.. Я поглядел на часы и убедился, что пробыл под землей семьдесят два земных часа, двое здешних суток. А не заметил.

Что же дальше? А вот что: я не записывал, только наслаждался. Теперь нужно сделать запись и послать ее Всесовету. Там, конечно, поднимутся на дыбы — проворонить такую планету! И родичи мои взбесятся. Хорошо!

Да, в клане я паршивая овца, а всему виной моя страсть к охоте. Я переступил их — Коновых — закон, они признают эту страсть лишь у старшего в роду, ему передают права (и оружие, библиотеку).

Что делать?.. Возьму-ка ружье, заряджу его и выстрелю в сердце, глупое и страстное. Роботы похоронят меня. Я сольюсь с этой планетой, где имел высшие радости.

Нет! Лучше не думать!

Я напрягся, пытаюсь сделать мозг тугим мертвым куском, — заболели надбровья. Теперь мозг действовал как плохонькая, разбитая ударом ЭВМ. Я установил связь с гномами, снова положил кусок Первичного Ила в анализатор. Тот же ответ, тысяча триста шестьдесят пятое подтверждение, что он мертвый.

А датчики?

Я ходил от прибора к прибору: мертво, мертво, мертво... Я убил, а виновата охота.

Любовь к ней у меня в крови. Охота!.. Когда я вспоминаю долгий ряд своих предков, то вижу их уходящими во тьму лесов (их звали странным словом «тайга»). Предки были русскими, они всегда охотились.

Примешалась к нам только кровь бабки Мод, саксонки с золотистыми волосами. Но руки ее предков тоже в звериной крови; они охотились в Африке, Индии, по всему свету.

И в душе бабки не умирало стремление к охоте. Именно из-за Мод нас изгнали с Цезарины. Мод сня-

ла ружье со стены и прикончила одним выстрелом всем осточертевшего филартика, шатавшегося по окрестностям, нарушавшего покой, грабившего сады. Заряд ее ружья настиг его в момент, когда он уходил.

Я могу себе представить его перевоплощение в смерти! — из зверя в сплетение зеленых и желтых нитей, искривших электрическими разрядами.

Никто на свете не знал этого — до выстрела моей бабки в грабителя-филартика. Казалось, должны сказать спасибо.

А что получилось?.. Филартика увезли в Институт, бабу и деда вышвырнули на Глан: убит запретный зверь!

Дед поселился в том месте, откуда был хорошо виден Гавриил Шаров, высеченный из целой горы каким-то сумасшедшим. Около и был наш дом.

Великий астронавт смотрел на дом, на равнину, сам из красного выветривающегося песчаника.

Под его взглядом я бил фиглей из рогатки и мечтал быть великим охотником.

Да, руки мои в крови той дичи, что так скупно водилась на Глане. Этим они походили на сильные руки предков, бывших великими охотниками: один охотился на китов с ручным гарпуном. А другой?

Сначала он добывал слоновую кость, потом сел хранителем африканского заповедника. А если я поднимаю древнюю память (мучительнейшая процедура, рождающая тяжелые головные боли), то вижу других, на костре обжигавших концы копий, чтобы охотиться успешно, с упоением и сладостью.

Или погибнуть на охоте.

И уж конечно, я знал о мечте клана. Судьба же меня гнала в сторону от охоты. И хотя я вопил, что буду, буду, буду охотником и поеду на планету Фантомов, я кончил сельскохозяйственный институт. И если сейчас вы едите сытный хлеб, розовый и немного странного привкуса, значит, в нем есть зерно так называемое

мых «шагающих» пшениц. Те, что слоняются всюду, где есть хоть крупинка жирной земли, а ко времени обмолота приходят обратно.

Я был счастлив только с ружьем в руках. Но охотились теперь лишь на вновь достигнутых планетах.

Кровь предков гоняла меня по диким планетам, пока я не попал на Маб и там не встретился с Сергеевым. Он был дальним родственником и врачом. Он знал решение и законы клана. И даже брался вывести страсть к охоте из меня простейшей операцией. Мы спорили, так как я не соглашался.

Это было неплохое время: Сергеев сидел у камина в том минимуме одежды, который разрешала носить жена. На его груди рыжая шерсть горела в отсветах камина. Надежда колдовала с кастрюлями, пытаясь соорудить нам приличный ужин, я глядел на стену, которую Сергеев увешал древним оружием. У него было даже пулевое ружье!..

А потом Сергеев умер и завещал это ружье мне.

И тогда-то я доказал, что цепь охотников шла ко мне, что она замыкалась только мною, вспыльчивым, небрежно одетым агрономом, человеком с покатым лбом мечтателя, который нигде не приживался, не заводил семью, мотаясь от одной пограничной планеты к другой.

Я добился, чтобы меня послали на планету Фантомов наблюдателем.

Трава — высокая — прикрывала зверя своей тенью. Но когда зверь двинулся, я удивился, что не видел его. От травы была в нем только полосатость, а все остальное совсем, совсем другое. Например, шкура красная...

Тигр шел ко мне... Ближе, ближе.... Я кричу, а на меня с дерева глядит обезьяна.

Это огромная белая обезьяна. Вокруг снег, шерсть

обезьяны заледенела, волосы торчат козырьком над круглыми голубыми глазами.

Почему крадущегося тигра сменила эта обезьяна?

А вот я на каре повышенной проходимости. Прыжок через пропасть! Кар повис в прыжке, колеса его медленно вращаются. Впереди же белые, черные, рыжие ящерицы. Они образуют тесный, слитый боками узор.

Я бегу, бегу от них аллеей, усыпанной листьями, красными, бурыми и желтыми, на меня глядит каменный космонавт Шаров, и варгус поднимает крылья, заслонив тучи. В моих руках ракетное тяжелое ружье. Я прищелкиваю к нему магазин, вскидываю — ствол его гнется.

— А-а-а!

— Ну, браток, — говорит, склоняясь ко мне, бортрадист, курносый Альберт. — И спишь же ты.

— Сплю?..

— Спишь ты слишком шумно.

Значит, сплю... Я прихожу в себя и определяю свое место. Теснота. Серые баллоны — это кислород. Подвесные койки. Откидной стол.

Я в тесной ракете, в каюте на двоих, куда пришлось всунуть третьего — меня. Остальное место в ракете занимает аппаратура в ящиках, роботы, которые со мной будут обследовать планету.

— Весь день спишь. Ужинать пора.

Звонят часы: «Ужин!»

И мы едим из хлебных стаканчиков морковное пюре и жареную котлету. Съедаем стаканчики и запиваем соком. Ребята теперь сыты и начинают бурно жалеть меня. Более жалостливых людей я еще не видел, им бы идти в похоронщики.

— Свинство посылать на такую планету одного человека!

— Я бы отказывался.

— Сам хотел.

— И глуп же ты, парень!

— Считаю, твоя жена вдова.

— Не увидишь детей!

Ни о чем другом они говорить не в состоянии: семья, жена, дети. Это работяги космоса, и словарь их прост.

— Нету там, парень, воздуха.

— Куда же делся?

— Был, да вышел, — смеются они. — Не было его, закись азота. Ну, в кресла — сейчас гравикокон.

Вот карта, которая дается только пилотам. Я вижу на ней очень ровную поверхность: рек нет и леса тоже. Карту делал мой предок — Изобретатель, она точная.

— По лощи там что-то вроде мелких болот, — вздыхает пилот. — Такие дела. Увязим костыли, перерасходуем горючее, — ворчит он.

Мне абсолютно плевать на огорчения пилота.

— Конов! Ты будешь третьим на планете, вон навигационный справочник, читай!

Лощи не врала — всюду топкие болотца с тонким слоем воды и студенистым илом. Кислород есть, но слишком много закиси азота. И до черта ксенона, гелия, криптона. Вот и станция Изобретателя. Чертов ледец! Где здесь охота?

Мы разобрали ящики, и роботы встали, все. Вернее, стояло семеро, маленькие коренастые роботы-гномы.

А два робота, те лежали. Один был шар, его я должен пускать на аэростате, другой — зонд для бурения.

Дали мне небольшую ракету: пейзаж планеты обогатился.

Мы починили домик типа глубинной батисферы, стоявшей на трех ногах. Затем пилоты жали мне руки.

Смущенные, они говорили, чтобы я не психовал,

что каждый год поблизости будет проходить космический зонд и брать мою информацию. Если я заболел, он возьмет и меня.

Затем они (с облегчением) влезли в свою ракету. Люк захлопнулся, ракета ушла.

И лишь тогда я отчетливо понял, что я обманут предком. С этим ничего не поделаешь. Поделом мне, слишком доверчивому!

Я стоял в мокроступах и легком скафандре. Мимо на тележке проехали роботы-гномы, ставить наблюдательные станции. Ладно, тогда работа! Я утыкаю планету датчиками.

Гномы, мчавшиеся на тележке в бурунах желтого ила и воды, вернутся через несколько дней. Другие станции я поставлю сам. Согласен, попался...

Следующие несколько недель я много работал, мотаясь по планете, и ставил датчики для наблюдений. И всюду видел одно и то же: Первичный Ил в глинистых ячейках, под тонкой пленкой соленой воды, настоящей аш два о. Сделал анализы воды. Она как моя кровь, в ней все, кроме белых и красных кровяных телец. Ил тоже содержал полный набор аминокислот.

Отчего нет жизни на такой планете? Все здесь подготовлено к ее появлению.

Или споры жизни, что несутся во вселенной, задержал гравикокон? Конечно, охотиться здесь не придется. Но что мешает потренироваться в стрельбе?

Я взял ружье, обоймы, банки из лаборатории предка и долго стрелял навскидку.

Приятное занятие! Робот швыряет банку, и ракета уходит за ней, пускает легкий дымок. Взрыв! Банка с наклейкой (буква М) — вдребезги, все прокисшие от времени химикаты разлетаются к чертям!..

Одно меня огорчало: ракеты самонаводящиеся, и кто попал в цель, я или они, понять было мудрено. Я соорудил и стальной арбалет: были инструменты,

станок, металлы... Я нарисовал на бумаге голову оленя и стрелял в нее.

Я поражал мишень, а робот бегал за моими стрелами и приносил их мне.

Как-то я обрабатывал дневные данные. И не поверил себе — кислород! А закись? Ее совсем мало.

Чудеса?.. Или мне врут приборы?..

Я надел скафандр и вышел. Ночь, дует ветер. Я отвернулся от него и щелкнул зажигалкой. Помню, в день приезда я долго щелкал ею, но пламя не держалось. Сегодня фитиль горел. Я нашел в кармане и зажег бумагу — она сгорела весело и быстро.

Итак, кислорода двадцать процентов, как на Земле. Но маску снять я все же не решился и, входя в шлюз, выдул весь здешний воздух. Ну, спать, спать.

Я разделся и подошел к иллюминатору. Постучал в него (зачем?). И вдруг с той стороны к нему прикоснулась рука. Она долго царапала бронестекло, затем стала кивать мне пальцем.

Манить? Угрожать?

Я находился в самом дурацком положении — снаружи этот предмет, а здесь я — и волосы дыбом. Схожу с ума? Быть может, некий токсин (закись азота?) меняет химию моего мозга, внушая галлюцинации? Это легко проверить. Я включил наружный свет и выключил внутренний. И долго всматривался в иллюминатор. Ничего!

Выходит, галлюцинация...

Я нашел аптечку и список лекарств. Так, так, антигалл, номер тридцать девять. Я сжевал таблетку. Но спать мне не хотелось, и я съел недельный запас сладкого, чтобы напитать мозг. Затем лег, бормоча:
— Ничего нет.

Но что-то во мне ужасалось и ликовало.

Я не спал. Взошла луна. Красноватый свет скольз-

нул по шторе. Слышались мерный плеск воды и шаги. Я выглянул в иллюминатор — ходит робот, берет пробы грунта.

Я задернул шторку и ухмыльнулся.

Утром я бросился к иллюминатору. Отдернул шторку и увидел ящера. Он рассматривал, не моргая, мою станцию. Затем стал чесаться о круглый домик: я схватился за стол. Почесавшись, ящер исчез.

Вот только что он был здесь, во всем безобразии, с чешуями и бородавками, и вдруг исчез.

Я попытался вспомнить подробнее, все припомнить — как встал и подбежал к иллюминатору. Для этого разделся и лег. Потянулся, сел в постели. Увидел свет в зашторенном иллюминаторе, подбежал.

Отдернув шторку, я опять увидел ящера, земного, из рода Нотос. Это переводится с греческого так — ублюдок. Туша тонн в двадцать весом. Огромнейшая пасть! Глаза выпученные!

О великий космос, у моей галлюцинации есть хвост, а кожа складчатая. На голове, боках и лапах роговые, цвета мозолей выступы.

Перед ящером папоротники, раковина и лежит чей-то костяк. И необычайно резкий, сухой рисунок всего. Словно это нарисовано тушью на бумаге. Еще похоже на старую гравюру. Да это ожившая гравюра! Та самая, что висела у меня в доме, когда впервые я узнавал о предках и мечтал охотиться даже на ящеров.

В конце концов я расстрелял ее из самодельного арбалета.

С наслаждением я всаживал стрелы в безобразнейшее существо. Затем мой отец, приверженец древних методов воспитания, выдрал меня ремнем. Я успел сунуть в штаны сложенное полотенце, и пятьдесят процентов стараний моего почтенного родителя пошли прахом. Да и он, подозреваю, не особенно старался.

Пермотряс Нотос погиб... на бумаге и воскрес здесь (дом опять всколыхнулся). Я схватил ружье и выскочил в шлюз, из него наружу.

И... ничего!

Зато увидел под иллюминатором вздутие Ила, тугую выпученную массу, похожую на резиновую перчатку. Вспомнил, здесь я до крови оцарапал руку.

Это же рука — фантом!.. Да, сойти с ума здесь легко. А ящер?.. Я искал и нашел следы в Иле. Тогда, озираясь, я стал пятиться к дому, пока не нащупал ногой ступеньку. Шагнул на нее.

Я поднялся задом, выставив ружье. Желтая равнина блестела водой. Кое-где выставились складчатые островки Ила. Где ящер?

Что-то коснулось моей спины — я вскрикнул и обернулся, чуть не нажав спуск. Но это была дверь станции, выпуклая стальная дверь. Такую и сто ящеров не выломают. Это хорошо.

...Весь день я сидел дома. Закрыл шторы и сидел. И хотелось мне говорить, посоветоваться. Но с кем? Одиночество... Человек будет искать друга. А одиночество планет? Чувствуют они его?

Да что это со мной? Я приписываю чувство каменному шару? Надо бы составить подробнейшую карту планеты. Вот будет работы! Вся дурь из головы повыскачит.

Ящер не приходил, и полгода я усердно работал: карта была составлена с самыми мелкими подробностями. Горы все же нашлись, небольшие базальтовые образования.

И был очень любопытен микрорельеф планеты.

Глубина илистых луж, заключенных в твердо-упругие, будто хрящевые, ячейки, всюду была одинакова — от десяти до тридцати сантиметров. Правда, иногда попадались глубокие колодцы, полные густой жи-

жей. Достичь их дна было трудно. То ли колодцы были изогнуты, то ли полны Ила.

К сожалению, пока что другие исследования были всего лишь царапинами поверхности явлений. Господствовали ветры западного направления, среднесуточная температура плюс 19, влажность 70—80 процентов, давление — 52! Освещенность 20 люменов.

Но что здесь делать охотнику?

Ура! Кончилось мое одиночество. Да здравствует Изобретатель!..

Однажды я сидел на лестнице (кислороду было достаточно, закиси немного, я ходил без маски).

Я грелся на солнце и с отвращением глядел на плоскую безжизненную равнину. Ах! Если бы охота! Я остался бы на этой планете вечность. И со злобой подумал о предке, сыгравшем со мною такую шутку.

Паршивое было настроение. Я прикидывал, когда закончу работу наблюдения, если предельно ускорю ее.

Да, задерживаться на планете я не собирался.

Хватит! Баста! Из-за любви к охоте я влез в эту историю.

Я охотник с рождения и всегда мечтал об охоте. Мало оставалось книг на свете, не прочитанных мной, если их писали охотники.

Но охота кончалась — Землю пришлось делать зоосадам и спасать даже насекомых. Никто там не смел тронуть живую тварь.

Да, земная охота кончилась навсегда. Оставались лишь сладкая память да охотники, наши легенды, мечты...

А космос?.. Планеты типа Земля были редкостью, их называли Алмаз, Изумруд и т. д. А уж тронуть не позволялось ничего. Триксы и мазукары могли спокойно делать что хотят, а вы облизывались, глядя на них.

Охотились теперь лишь на диких планетах, на странных животных. Неприятных.

А ведь в охоте не только выстрел, не простое убийство зверя. В ней и любовь к нему. Человек родился охотником. Погоня за знанием — тоже охота.

Но Великая Охота, бывшая только на Земле, однажды ушла. А была как сон! Человек бил слонов, тигров, бизонов, китов... Я это знаю лучше других, мой род всегда был родом Охотников.

Конечно, были и есть в нем паршивые овцы — ученые, путешественники, агрономы. Но взять прапрапрадеда: он плавал на парусных китобоях и ручным гарпуном бил китов. Такое счастье дано немногим.

Настоящая Великая Охота была только на Земле, и она не повторится. Мой клан это понимал. Поэтому он вел поиски Первичного Ила и землеподобной планеты.

Я — в мечтах — бродил со своими предками, бил слонов из ружей 600-го калибра, ударявших пульей так сильно, что атакующий слон даже садился на задние ноги.

С предками (в мечтах) я предавался изящной охоте на болотных куликов, нырял в глубины океана и на шаривал остройгой в подводных расщелинах таящихся осьминогов.

С ними крался к пасущимся дрофам, манил зимних голодных волков визгом поросенка и караулил бурых медведей, сосущих ночами овес; ходил на ягуара с ножом, обернув левую руку своей курткой.

...Было 19 часов времени. Близился закат. Дышалось легко. (К сладковатому привкусу здешнего воздуха я давно привык.)

Так помянем же Великую Охоту!

Я нашел заветную бутылку коньяка и выпил за охоту и предков, зверей и птиц. Вышел на крыльцо. Сел. По-видимому, я опьянел.

Во всяком случае, заговорил вслух, орал Илу, что

мне опротивела эта рыжая слизь. Лучше жить в пустыне: барханы, зной...

И ахнул. Пустыня лежала предо мной! В ней ходили миражи и даже торчала пальма. Бред какой-то.

Я встал и пошел к ней. Впереди меня — по песку! — бежало животное. Собаковидное.

Шакал?.. Он самый. Зверь сел и начал чесаться. По-видимому, пустыня или что там еще (я лягнул песок) не спасают от блох.

Зверь чесался долго, постанывая от наслаждения. Вырванные когтями шерстинки падали на зернистый красноватый песок.

У пальмы заревел лев.

Его глухое, утробное рычание пронеслось над песком.

Лев рычал, а я ухмылялся: отличный бред! Но опомнился. Был ящер, теперь вот лев, а я без ружья.

И побежал за ружьем к станции, неуклюже загребая ногами, не понимая, отчего мне так неудобно бежать. Пока не догадался, что мешает песок.

Песок!.. С мелкими камешками!.. Нагретый солнцем!.. Я споткнулся и упал. От меня пробежала ящерица, узенькая и серая. А рядом с локтем пошевелилось то, что мне казалось галькой. Откуда здесь галька?

Она приподнялась. Над песком оказалась голова змеи, к тому же с рожками.

О великий космос, рогатая гадюка! Такие водились в африканских пустынях.

Змея потянула по песку тугое плетеное тело. И перед ней, наискосок от меня, пронеслась стайка кистевых тушканчиков. Крохотных. Желтых.

Они скакали торчком, на задних лапках, с быстротой низко пролетающих мелких птичек.

...Лев подошел к станции. Он ходил вокруг, нюхал и царапал стальную дверь. Бил ее лапой.

А с другой стороны двери сидел я — на полу и с пустой бутылкой в руке, пьяный в дым, с вставшими дыбом волосами.

Мы так и проснулись утром — я у двери, с тяжелым, затекшим телом. Лев спал с удобствами — лежал в песке, грива его растрепалась.

Но я проснулся раньше его, успел открыть дверь, увидеть и снова прикрыть ее: лев спал. Громадный... Цвет он имел не желтый, как я читал, а рыжеватый. Грива была черная и спутанная.

Я взял бластер и вышел.

Я гнал себя вперед с лестницы, а не мог оторваться от двери. Шагах в десяти от меня поднимался с песка лев. Вел он себя мирно — встряхнул шкуру, сел и зевнул, стукнув зубами. И заметил меня. Глаза... В них появились острые точки.

Он сидел — и вдруг красная вспышка. Лев прыгнул, летя прямо в меня. Как ракетный снаряд.

Я нажал спуск: удар бластера далеко осветил местность, а лев погас и упал на ступени, смял нижнюю. Остыл песок через час (который понадобился мне на сходжение с пяти ступенек вниз). Я обошел горелую тушу льва, потрогал, растер в пальцах опаленные волосы и понюхал пепел. Лизнул его.

Будь я вполне трезв, я бы, наверное, сошел с ума и бегал по пескам, визжа, как ополоумевшая обезьяна (у которой случайно я убил детеныша и она свихнулась с горя).

Но с непробиваемым самодовольством пьяного я освидетельствовал останки льва и даже попытался раздавить каблуком чрезвычайно твердого скорпиона.

После чего прошел к оазису. С идиотской ухмылкой (так я и чувствовал ее лицом — идиотская!) я потрогал пальму и вымыл руки в родничке. Но пить из него не решился, ушел.

И вот, завтракая, сидя в обществе кружки чая и баночки тушеной свинины, я задумался. Что делать? Вокруг пустыня, я должен быть готов к приходу других львов. Они — дичь. Изничтожать их бластером свинство!

Итак, есть великолепная дичь и ружье, пулевое. Желательно иметь ружье с дробовыми зарядами на случай прилета разных птиц. Какие птицы жили в африканских пустынях?

Позавтракав, я занялся отливкой свинцовых пуль. Хотя и мог бы поручить это роботам. Но я их делал сам, весело присвистывая при этом. Плавил свинец, снимал пенки гари.

Я лил пули, не веря ни льву, ни пальме, ни себе.

К вечеру у меня было не только старое, но отлично сохраненное ружье предков, но и десяток зарядов к нему. И к вечеру же стая шакалов основательно обработала горелого льва. Даже череп разгрызли.

Затем пустыня исчезла. Ночью.

Так все произошло — набежали тучи, пошел дождь, казавшийся нескончаемым. В шорохе и плеске его зазвучали голоса и шаги. Чудилось — пролетали гуси, огромные их стаи. Затем мимо станции бежали крупные какие-то животные, должно быть, антилопы — оробы, еланды, топи, импалы, газели... Поревывали охотящиеся львы.

Затем остался только водяной плеск.

Я прислушивался, но не выходил. Сидел, перебирая кристаллы охотничьей библиотеки.

Меня интересовала пустыня. Пришлось свериться с геоландшафтами, просмотреть справочники, отвечать на вопросы возбужденного мозга.

Скрывать не буду, просмотрел и литературу о психозах. Но Панков, Вайс, Кумира молчали о материальных феноменах. Ничего? Так, так... И до самого конца я не мог отместить соображение, что все охоты — моя роскошная галлюцинация. Такая превосходная, что я видел в ней и льва, и кости его, даже песчинки.

...Утром я снова увидел Ил да лужи. Охотничий мираж окончился. Пошли пустые дни — один за другим, но я ждал — каждую минуту — нового чуда.

Всю ночь меня баюкал плеск воды. Гудел отопитель, струя теплого воздуха колыхала занавеску и шуршала бумагами, положенными на столе. Потому мне снились мыши, занимающиеся своими ночными делами. Как только сон отпустил меня, я рванулся к двери.

Открыл и скис — все мокрое, желтое, прежнее. Следующую ночь я опять плохо спал и услышал плеск. На этот раз я победил сон: сел и долго сидел в постели, медленно приходя в себя. Затем встал и выпил стакан воды. И окончательно пришел в себя.

Теперь уже ясно услышал тяжелый плеск, шедший отовсюду. Казалось, что дом плывет прямо в море. Держа руки под мышками (было свежо), я подошел к иллюминатору.

Сдвинул занавеску и увидел отражение комнаты в полированном стекле. Оно, затемненное снаружи ночью, стало скверным черным зеркалом. Чтобы увидеть то, что снаружи, нужно выключить мой свет.

Но... я боялся выключать его. Тогда случится плохое. А плохого я себе еще не хотел.

Ну, посмотрим!.. Я выключил свет и одновременно нажал на кнопку прожектора. Подпрыгнул — станция стояла на берегу моря.

Угловатая луна неровно освещала скалы или что там было на самом деле. Вода беспокойная. По ней пробегает лунная дорожка. Вокруг синеватой луны, висящей над морем, резко вычерчен галлос. Ровно, будто циркулем.

Лунный свет блестит на каменных гранях, омываемых водой, настолько правдоподобно, что я вышел (на случай неожиданности прихватив бластер, теперь всегда висевший у двери).

Я стоял в дверях шлюза: ничего не менялось. Плескалась вода, что-то беловатое карабкалось на третью от дома скалу.

Море дышало холодом. По воде плыли льдины.

Волна подходила близко к станции, даже заплески-

валась на ступени. Потрогав их, я мог вполне убедиться, что это вода и к тому же ледяная вода.

Вот, замерз до крупной дрожи.

Это северное холодное море. На таком охотились мои предки, охотники-поморы. Они били тюленей.

И тут лишь я ощутил, как сильно замерз. Ух, холодно! Или кажется?.. Посветил фонариком на термометр — плюс десять.

Я сходил за стаканом, бегом вернулся и зачерпнул воду. Унес к себе, поставил на стол и сел в кресло.

Подумать только — море! Я принял таблетку, выглянул — море оставалось. И ветер, и сырой холод. Даже пришлось усилить подогрев станции.

...Утром я нашел в стакане морскую воду, а показания термометра записанными на ленту. Но вот моря не было, а только желтый Ил, как всегда.

Следующей ночью плыли айсберги и толпа пингвинов, крича, слонялась возле станции.

Тогда я пустил спутник, то есть роботы его запустили.

Он обошел планету и показал странное — море было только около станции, имело радиус семьдесят километров. Но как понять такой феномен — сброшенный мною буй-эхолот показал глубину в пятьсот метров?

После еще одной смены (было однажды тропическое море в бурю) планета выбрала определенный режим: утром я нашел северное море со скалами и островами, надолго обосновавшееся около станции.

Пингвины исчезли. Туда-сюда летали чайки, белые и розовые, а к воде подбегали звери породы собаководы по названию голубые песцы.

Они ели дохлую рыбу, выброшенную волной на берег.

Я взял одну такую рыбину, унес и определил ее по справочнику. Это была мойва. А галька-то на берегу вся обкатанная, и море серое. Пахнет оно водорослями.

Вскоре явились киты. Они со свистом дышали, фыр-

кая, выпускали водяной пар. Киты! Ну, если это бред, то прекрасный бред.

...Китов было несколько: бухта им понравилась, они ныряли за какой-то китячьей пищей, играли. Я же сплел лески и устроил себе замечательную рыбалку на донные удочки. На приманку я употребил дохлую рыбу, валявшуюся на берегу.

Клевала треска, сильная, бодрая, стройная рыба, при подсечке выскакивающая из воды как бы в слое жидкого стекла. Я наловил много. Но есть не решился.

Море... Теперь часто я сидел у воды: волна набегала и уходила, помогая мечтать. Плескались киты. Я глядел на них. Не скоро я пришел к убеждению, что надо построить судно, что-нибудь вроде струга с квадратным парусом. На нем получить дополнительное удовольствие от моря, рыб, чаек, китов.

И много позднее мне пришла идея об охоте на китов: долго я не мог думать о них как о добыче. Не смел.

Да и к чему мне кит? Охотник не просто охотится, он преследует нужную добычу.

Кит?.. Что с ним делать?.. Есть его?..

Но почему, спрашивается, мне попадалась именно та дичь, за которой гонялись мои предки? Изобретатель... Что он такое сделал с планетой?

Потом, когда было слишком поздно, планетологи предположили страшное. Они решили, что Изобретателем планета была сделана живой насквозь, что он связал все процессы, шедшие и в плазменных озерах, и в глубинах шара. Связал, внося во все нашу родовую память. Но как?.. Сильны Коновы! Ничего не скажешь...

У меня образовалась превосходная коллекция ружей. Благо были и металл, и отличные помощники.

Бывало, изобрету что-нибудь для определенной охо-

ты, разработаю конструкцию, дам заказ — вечером! — утром нахожу готовое оружие.

Ну, здесь все понятно. А вот что мне хотелось бы знать: откуда брались охотничьи собаки?

И еще — отчего я не пугался фантомов? Как предок?

Мне полагалось испугаться и дать сигнал Всесовету.

Или я доверился работе Изобретателя? Он ведь Конов, он не мог сделать вредное человеку.

...Любимым ружьем в конце концов стала бескурковка двадцать восьмого калибра. Смешно это звучит — двадцать восьмой калибр!

Предки-оружейники додумались делить фунт свинца на двадцать восемь частей. Из каждой они делали круглую пулю диаметром 14,8 миллиметра. Это и было калибром ружейного ствола.

Отличное ружьецо! Я бил из него бекасов влет и без промаха.

Придумывал это ружье я сам, следуя внешнему образцу по фото, на котором один мой предок снят с таким ружьем.

Предок, гласило семейное предание, успешно сочетал два тонких занятия — охоту и хирургию. Но его погубило пристрастие к оружию малого калибра: он охотился на кабана и ранил его. А пуля-то была мала. И траурная фотография (предок с ружьем в руках) повисла на стене, врезанная в натуральную деревянную подставку.

А теперь о бекасах... Когда морю вздумалось стать мелким болотом, поросшим осокой, камышом и пушицей, на нем изобильно расселась не крупная птица: дупеля, гаршнепы, бекасы.

Те самые, что летали (на Земле) с огромнейшей быстротой и к тому же зигзагами. И рассчитать встречу 25 граммов дроби, летящей со скоростью 300 метров в секунду, с вертлявой птицей было трудно.

Поразившим меня открытием была красота болот. Они, травяные и мелкие, были фантастично хороши.

Я бродил в их мелкой теплой воде, держа ружье наизготовку, отодвинув его от себя, чтобы стрелять медленно.

Плескалась вода, шуршала осока. В душе тлела точечка, горячий уголек, надежда подстрелить бекаса. Убитый, он исчезал, стоило мне отвернуться. Это делало охоту радостной.

И ружье теряло вес. Оно было такое удобное (уж и повозились гномы с прикладом), будто мы с ним и родились, и выросли вместе.

На стволы его гномы пустили сталь-нержавейку, расплавив запасной костыль станции; колодку ружья сделали из металла помягче. Приклад был пистолетного типа, отделан под дерево, спусковой курок один на оба ствола.

Я сделал запас нитроклетчатки и дроби.

На другие охоты я брал иное ружье. Постепенно у меня появились сети, два арбалета и даже лук со стрелами. Было шесть дробовиков. один восьмого калибра, с резиновым наплечником.

Тяжелое, мощное ружье. Оно подымало заряд дроби в 67 граммов. Из него я бил гусей. Но после того, как планета (или что там, не знаю) пошутила надо мной, я стал делать все оружие с обязательным ракетным стволом.

Скажем так — два ствола дробовых, а в третьем — ракета.

Шутка была такого рода — я разнежился на утиной охоте.

Это приятно — стрелять влет уток, крикв и чирят. Страсть моя, сытая, нежилась, а телу была приятна усталость охоты. Мозг дремал.

В блеске солнца я приметил нечто округлое и большое, лежавшее на воде, среди камышей. Гусь?.. Под-

стрелю! (Голова моя была полна птицами.) Но поднялся из воды плеозавр — шея словно колонна!

Если бы охотники каменели от испуга, записок моих не было. Я думаю, у прапрадеда, бившего слонов из ружья калибра 600, было немало возможностей окаменеть и быть растоптанным.

Он убежал.

Я не сразу понял, что произошло и отчего я полетел кувырком, а затем побежал. И лишь около дома увидел — оторвана пола охотничьей куртки, кожа висела треугольными лоскутами. Понял — ящер меня чуть-чуть не поймал. По-видимому, хватая, он так неловко ударил меня носом, что придал мне ускорение.

Ящер на болоте? Вот это дичь!

Я схватил ракетное ружье и примчался обратно. Но либо спутал место, либо чудище исчезло.

Я просидел весь вечер на болоте, ожидая явления зверя, и не дождался его.

А такой случай: погнавшийся за мной кабан-бородавочник вдруг стал черным носорогом, полным желания растоптать меня. И снова я принимал все как чудо... опасное чудо, сотворенное моим предком и Первичным Илом.

Предок... Он любил пошутить. Пшеницы, бродящие повсюду, выведены им еще в юности. Мы их только совершенствовали.

Убитые птицы падали. Я не брал их — так быстро они становились слизистыми комками. Я даже старался не думать, откуда явилась ко мне собака, о которой я мечтал, черный пойнтер высокой крови.

Но он встал передо мной на стойке по бекасу. Замер. И блестяще отработал его.

Не знаю, где ночевала, что ела собака-фантом. По утрам она встречала меня и вечером провожала в дом помахиваньем хвоста.

Она походила на черного пойнтера моего отца. И если бы я сам не хоронил Цезаря, то думал бы, что это

он. Когда же я стал охотиться в лесу, явилась шумливая стая такс, фокстерьеров и гончих.

Иногда я подглядывал за ними. Глядел долго. И смутно мне было, а в душе поднималась тяжелая, как ящер, злоба.

Я смотрел... и ненавидел это, мне абсолютно непонятное. И хотелось ударить его, обидеть, чтобы и Оно, Непонятное, чувствовало и знало меня.

В последнюю Великую Земную Войну один мой предок попал в плен. Он бежал и сражался в чужих землях с той же странной и непонятной силой — фашизмом, — с которым воевала моя страна.

Но кончилась война. И предок вернулся.

Почему-то пришлось ему возвращаться на родину медленным кружным путем. Я думаю, потянула его таким путем охота.

Он, добывая ею средства к жизни (древние были времена!), побывал в разных странах. Семейная легенда донесла, что был он ловцом кайманов в Бразилии, охотился с сетями за ящерами острова Комодо, ловил рыбу-латимерию для музеев и добывал тропических рыбок, которых в те времена принуждения многие держали в аквариумах.

Я делал то же самое. В лодке моей лежали приспособления. Фонарь, чтобы высветить глаза таящихся в воде кайманов, сачок для рыбок: аквариум занимал половину станции.

Я перестал бояться здешней ночи.

Лодку мою по воде гнал робот-гном (другому полагалось защищать меня).

Робот ловко работал веслом. Я же опускал руку в воду, теплую и густую. Не верилось, что под нами всего несколько сантиметров глубины. Часто с каким-то вызовом я опускал весло и не доставал дна. Было ощущение, что некая упрямая сила сгибает весло.

Но блеснули огни глаз каймана! Я давал знак роботу и готовился к прыжку в воду. И мне было уже все равно, ухвачу я каймана длиной в полтора метра или ящера в пятнадцать.

Кстати, о ящерах... Неужели родовая память хранит их в себе?.. Разве мы, Коновы, были их современниками?.. Или где-то ящеры еще долго жили после общего их вымирания на Земле.

...Днем я нырял в море (акваланг делал сам). Плавал с гарпунным ружьем. Иногда акула выгоняла меня из воды. Я отталкивал ее стволом, так и не рискнув подпустить к себе.

Но долго я не решался охотиться за китами, очень долго. На тигра хаживал, слонов бил, а китов не трогал.

И был счастлив. Если бы мне сказали: «Конов! Умри мучительной смертью путем медленного сжигания, и ты попадешь в такой рай», я бы завопил: «Жгите!»

Чудное житье! Охота утром, днем, в снах. Нескончаемая охота: были снова львы, желтого цвета великаны (черногривых я больше не видел), ходили туры, быки южнорусских степей.

Всякое было. Однажды что-то щелкнуло в незримом механизме, и на меня кинулся муравей ростом с большую собаку, тарантул гнался за мной, огромный.

Не забыть мне мерцание его глаз!

...Несколько недель подряд планета производила муравьев. Робот, облетев планету, показал ее всю, покрытую насекомыми — громадными муравьями и термитами, потом странной помесью их. И вдруг мне помешало лицо Изобретателя — покатый лоб, усмешливые глаза, редкая борода.

Я мог бы охотиться на китов современным методом. Так и подмывало употребить самонаводящуюся торпеду или ракетный гарпун. Я даже сделал механизм и взо-

рвал медлительно проплывающую акулу. Белую, полярную.

Это было эффектно и громко. Я смоделировал все стадии охоты на кита с торпедой и... отложил ее. Мне хотелось плыть самому, в лодке. Гномы вполне могли выйти на охоту со мной. Они и будут гребцы.

Но где счастливые перемигивания? Общий вздох ужаса, когда кит рядом и, бесконечный, скользит мимо лодки?.. Нет, охота на кита не для одного человека. Нужны люди. Где остальные Коновы? Почему не летят сюда? Чего ждут?

И, приготовив все для охоты, я отказался от нее. От чего меня схватила тоска. Лютая.

Волны тоски снова шли и шли. Однажды я оставил забытым на ночь кристалл (ему диктовал очередное донесение моих датчиков).

Утром прослушал его.

Оказалось, ночью, сонный, я вел диспут с Коновым-Изобретателем. Темы? Одиночество, человек, вселенная, Первичный Ил...

В диспуте я был слишком болтлив. Это мне не понравилось.

Пришли осенние дни, грустные, тихие. Щелкая черенками, падали с берез листья. Всюду бегали зайцы, беляки, русаки, даже песчаные толай.

Роскошные лисы гоняли их.

Я устроил охоту на лис. Сначала мудрил над чем-то вроде механической лошади, не гоняться же за лисами на вездеходе.

Я проникал в строение лошадиного тела (скелет, мышцы, нервы), пока не убедился — не выйдет! Скакать мне на палочке верхом! Отлично! Тогда на ракетной палочке.

Я соорудил одну и крепко ушибся, налетев на станцию. Врезался, можно сказать.

Отлеживаясь, я думал о лошади, мечтал о лошади, видел сны о лошадях. И прибежала лошадь-фантом карего цвета.

Она встала, мотая головой и всхрапывая, у двери станции.

Отличная лошадь! Я любовался ею (а в сердце была тоскливая, ноющая жуть).

Седла мне пришлось изобретать самому, зато послушание фантома было отменным. И после нескольких пробных охот на зайцев с нагайкой (догнав, я убивал зайцев ударом) взялся за лис.

Охотился целыми днями.

Однажды свора гончих с ревом гнала лису. Я скакал сзади, не зная, что ждет меня. Не станет ли моя лошадь динозавром?.. кенгуру?.. птицей?..

Но пришел азарт: лиса бежала, гончие летели, я орал и блаженствовал. Хорошо!

И вдруг на крики мои со всех сторон повыскакивали всадники — все на карих конях, все я сам: те же куртки, шапки, сапоги.

Я окостенел, вцепился в гриву. Страшно!.. Мгновение — и я уже не знал, где и кто я сам. Но охота продолжилась — с дьявольской решительностью.

Мы неслись за лисой через овраги, сквозь редкий лес. Гончие ревели дикую песню погони, а впереди них, словно огонек, парила лисица. Я начал отставать. И вдруг что-то замедлилось в стремительном накате лошадей. Я видел — всадники красиво плыли среди желтых берез, а те приподнялись, как мираж в знойный полдень, и под каждой было ее отражение.

Словно дерево стояло в луже. И тут же все исчезло — звери, люди, собаки (и моя лошадь).

Я упал в грязь. И был один на желтой равнине. Один... Проклятие!

Мне хотелось кататься, бить кулаками, кричать обидное. Я прибежал на станцию, схватил ракетное ружье и расстрелял обойму в мокрую желтизну.

Я был готов ударить по ней чем угодно, чтобы желтой равнине стало больно, как и мне! Потом долго не выходил из станции и даже в иллюминатор не смотрел.

На этот раз было северное тусклое море, синее у горизонта. Дул ветер, бежали к берегу волны с барашками.

А среди камней возился и что-то делал я сам — один, второй... Фантомы!.. Все!.. Не страшно.

Я подошел к ним и спросил, коего черта они здесь делают?

Не отвечая, они готовили лодку к охоте. Лишь один махнул рукой на воду — там сопели киты, блаженно кормясь. Они пускали вверх столбы-фонтаны. Бедняги, толстые увальни! Их так быстро перебили на Земле.

Один близко подошел к берегу, он распахнул пластинчатый рот. И вдруг дыхла его расширились и заблестели, он пустил вверх столб воды, смешанной с паром дыхания.

Фонтан обрушился на меня. Душный, пропахший рыбой.

Я выскочил из этого мерзкого душа, а фантомы смеялись. Как один, они смотрели на меня. Указывая пальцами, хохотали.

Позади их было хмурое небо и скалы.

И одно мое «я» вдруг высоко подняло гарпун. Огромный! Его мне давно сделали роботы. К концу гарпуна привинчена заостренная тяжелая граната.

Значит, охота? На кита?.. Не испугаюсь! Я влез в лодку, и мы отошли от берега. Ветер вздул мою рубашку, и я поежился. Холодно.

Я взял весло и стал греться усиленной греблей.

Мы налегли на весла, и крепко налегли — вместе.

Но почему я готовил двенадцать пар весел?.. А, не все ли равно, в конце концов. Набежали волны. Наяву?.. Во сне?..

Киты неторопливо отходили от берега, поплескивая хвостами. Их была здесь семья — папаша и очень толстая мама с коротким толстым китенком. Они плыли, то скрываясь в воде, то появляясь. Вода, журча, стекала с усов, с шипеньем взлетали фонтаны.

Ладно! Я буду на вас охотиться, как мой предок. Я убрал гранату и привинтил наконечник. И кто-то из команды аккуратно сложил трос — круглой бухтой — на носу лодки.

Мы шли к китам. Ближе и ближе... Вот они, рядом с лодкой! Кит-отец нырнул и стал всплывать. Моя команда подняла весла вверх. Глядели на меня.

Я встал с гарпуном. Не такой уж я силач, чтобы метнуть его. Но гарпун сделан из титана, он немного весит.

Кит всплывал. Вот он как тень, вот округлилась спина. Растолкав воду, она близилась к лодке.

Я кинул гарпун. Он как-то слишком уж легко и мягко вошел в широченную спину. Впился с легким и странным треском, будто проткнув материал.

Кит плеснулся и пошел вон из бухты. Брызги и водяная пена летели от хвоста в стороны.

Попаля! Мы напряженно молчали: гарпун попал неудачно, в легкое, а не в сердце — фонтан окрашен кровью. Трос разматывался, бежал в воду. Он задел и обжег мне руку. Мы были на привязи у кита. А станция?.. Она — белая точка.

...Кит не уставал. Мы связали тросы и вытравили их, чтобы, ныряя, он не утянул нас на дно. «Как же так? — думалось мне. — Здесь от силы по колено, а кит ныряет?»

Ветер поднимал гребни и бросал в нас брызги. Мне было жарко и в одной рубашке. Моя команда... Когда я осторожно косился на них, то видел мертвенность в лицах. Она-то и пугала Исследователя. Но когда я передавал им что-нибудь или случайно задевал, то натывался на живую, теплую руку. А что там кит?.. Он

не хочет быть добычей?.. Я пришел в ярость. Ругая гребцов, заставлял их подогнать лодку ближе, еще ближе. Опасность? Пускай!

— Второй гарпун!..

В конце концов мне удалось кинуть запасной гарпун. Удачно: зверь лег на воде. Он умирал, надо ему помочь.

Лодка подошла к киту. Мне подали длинное копьё, и я пытался нащупать им бьющееся огромное сердце кита.

Я втыкал копьё за грудным плавником, глубже, глубже: оно вздрогнуло в руках, кит ударил хвостом и умер. Все, кончилось...

— Ура! Наш!

Я вопил от радости:

— Убил кита!.. Уби-ил кита!..

Лодка кружила вокруг кита — мы торжествовали. Затем мы привязались к нему и, гребя, потянули к берегу. Но к крови, что широко расходилась в воде, приплыли касатки. Их спинные плавники, поднимаясь в мой рост, прорезали воду.

Огромные!.. Вот одна — черная, блестящая — на мгновение высунулась. Она оперлась на грудные плавники, посмотрела на нас и нырнула.

Их стая напала на кита. Сначала они вырвали его свесившийся в воду серый язык.

Затем стали рвать его тело. Мою добычу? Проклятые!.. Ружье мне! Но его нет в лодке. Я проклял себя, свою забывчивость.

Лодка закачалась — подошли другие касатки.

Я приказал перерубить трос, и мы отошли в сторону. Долго смотрели в кипение воды вокруг кита. Он же медленно тонул, уходил в воду.

Затем набежали мелкие акулы, и все исчезло.

...Когда мы вытащили лодку на берег, был вечер. Красный к завтрашнему ветреному дню. Те разгрузили лодку, понимая друг друга без слов, я ушел на стан-

цию. Я смотрел в иллюминатор на людей. Долго, пока не пришла беззвездная ночь.

В ночи они и исчезли. Бесследно. Хорошо сделали — мне было тяжело с ними, убийственно тяжело.

Всему бывает конец, счастью тоже. Ракетный зонд пришел и, ходя на орбите, взял собранную информацию. Мне передал радиограмму. Я прочитал ее несколько раз подряд: она ошеломляла.

«Всесовет — Конову. Ожидайте «Надежду», класс А супер. Посадочный вес десять тысяч тонн. Готовьте посадочную площадку, прибывает комплексная экспедиция. Прилет ожидайте в июле месяце земного календаря».

Экспедиция! Ее-то мне и не хватало!

Ракета несет не экспедицию — мое наказание. Я уже не смогу быть один с планетой. (Хороший охотник — одинокий.) А планета?.. Не изменит ли мне? Так я все возьму у нее, все, есть еще девяносто дней.

Моих дней, черт побери!

И началась сумасшедшая охота. Я даже ловил варанов, стрелял голубей и дроздов.

И ничего не успел.

Я не поохотился за птицами-агами, гоня их верхом на лошади и кидая лассо.

Не побывал траппером, не ставил ловушки и капканы. Не ловил пернатую мелочь на птичий клей, не бил тропических бабочек из водоструйного ружья.

Мне не пришлось охотиться на куликов-турухтанов и сходить с рогатиной на бурого медведя.

Хуже! Я не охотился на исполинского оленя, и лохматый мамонт так и не стал моей добычей. Даже белого медведя не убил. Не успел — так быстры дни.

Миллионы упущенных охот! Навсегда, невозвратимо потерянных мною. Допускаю, что поохотился я здесь

так, как не снилось самому древнему и удачливому предку. Но и терял я больше их всех, вместе взятых.

Я не отдам планету! В конце концов Великую Охоту возродил здесь Конов, мой предок.

Она — мое наследие.

Что же делать? Что сделать? И мне пришла мысль, непостижимо простая. Она пришла, и я наскоро прощупал этот удивительный спокойный шар.

Поразительная картина! Все его силы, все напряжения — коры, напор магмы, движения ядра — сбалансированы.

Магма была на глубине 1—3—5 километров. Первичный Ил уходил на глубину двадцати метров. Он лежал на граните, имея хрящеватое основание с включением разного рода конкреций, в основном состоящих из кремнезема. Но было много железистых и марганцевых конкреций. Мысль же была такая — все охоты, все звери — в планете, в густом Иле. Убей его — и поохотишься сразу на всех зверей (испытать следует и горечь всех возможных охот).

Так, так, силы планеты сбалансированы? Отлично!

А если баланс нарушить? Дать толчок одной из сил — напряжению магмы?.. Баланс пойдет прахом. А двум силам!.. Трем!..

Вот что сделаю — ударю по гранитам, что держат магму. Что будет? А вот что будет — сейсмическая волна пробежит под всей поверхностью и встряхнет Первичный Ил, он перемешается и... сдохнет.

Затем надо прорвать гранитный слой и влить энергию в полусонную магму. Она — взиграет, начнутся извержения и так далее.

Я это сделаю — пока «Надежда» далеко. Я обману их всех!

И два месяца атомный котел буквально кипел.

Все это время гномы делали мне ракетную иглу — конусный снаряд длиной в пятнадцать метров. В сверкающее жало я вложил плутоний, в расширенный конец — запасной двигатель.

И поднял снаряд на ракете вверх, на орбиту.

Я долго ходил вокруг планеты, сверял координаты. («Надежда» приближалась, неделя-вторая, и она будет здесь.)

Я не решался пускать снаряд: там мои охоты. Все!.. Но сверху планета представлялась мне простым диском без неровностей. Она стала безликой. Но все во мне плакало, словно я убивал собаку!

Я выстрелил и прильнул к иллюминатору.

Ждал долго. Лишь на другой день увидел — Ил подернулся рябью. Пятна пробегали по нему, окраска Ила быстро менялась от полюсов к экватору. Приземлился.

Шел к станции уже по мертвому Илу. Подошел и увидел съезженные фигуры, еще хранившие форму моих собак. Вот Цезарь, гончие... Бедные! Они пришли ко мне, ждали меня, хотели охотиться.

Я потрогал их — растеклись. Это потрясло меня.

Пусть теперь берут планету, пусть! Не нужна мне она, я убил ее... Убил?.. Великий космос, я убил...

Я заплакал. Потом кинулся вытаскивать проклятую иглу, но даже гномы не смогли вынуть ее.

...Еще шесть месяцев я безвыходно провел на планете: мой вопрос разбирался на Всесовете. Были даны показания. Затем ледяной мир Арктуса и работа в глупинном руднике — по просьбе всех Коновых (и моей тоже).

Но человек живет всюду. На Арктусе я женился, там родились мои дети, они считают его своей родиной. Любят, кажется...

Как это ни странно, я не умер, а живу, как все на Арктусе. И мне кажется сном все, что было на

планете Последней Великой Охоты. Я даже не верю себе. Был сон. Тогда выхожу на поверхность этой промерзшей насквозь планеты. Звезды в небе, звезды во льдах. Они бросают в меня колючие лучи, а пар дыхания туманит окошко скафандра.

Пусто, морозно... Как в моей душе. Затем я иду, иду, иду, по снегу. Иду, проклятый самим собой. Но все же, черт возьми, я самый великий охотник из всех Коновых и всех людей. Кто еще убивал такую крупную дичь?

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

(Послесловие составителя)

Из-за нехватки кристаллов (тип «Сапфир», огранка МТЗ), публикация воспоминаний Коновых была отложена. Но нет худа без добра — отсрочка пошла на благо моей работе.

Я много понял и узнал.

Я понял устремления клана, всю полноту ощущения им былой вины. Оно выразилось в стремлении, которое может осуществить только клан, работая в одном направлении столетиями.

Клан родил Изобретателя, создавшего Великую Охоту на планете Фантомов. (Хотя до сих пор неясно, как он смог достигнуть такого мощного и своеобразного эффекта политерии.)

Клан же родил Конова-Охотника, убийцу этой Великой Охоты, которую мы вправе считать уже последней в истории человека.

Я благодарен прошедшим годам — накопилась новая информация. Она-то и позволила мне яснее увидеть лучшие черты охотников.

История рода Коновых и планеты Фантомов шла далее вместе, получив название «Семейное дело». Так первым называл отношения Коновых к планете Генри М. Конов. Он требовал не публиковать записки Охот-

ника, чем и обратил общее внимание на то, что они уж слишком залежались в отделе Воспоминаний, и косвенно помог мне.

Итак, Конов-Исследователь обнаружил на планете явление материальных фантомов, Конов-Изобретатель, по-видимому, осеменил Первичный Ил матрицами всех животных времен Великой Земной Охоты. А также усовершенствовал способность Первичного Ила к явлениям эффекта политерии.

Конов-Охотник в безумии своем нанес атомный удар планете как раз перед прибытием комплексной экспедиции звездолета «Надежда». Но Всесовет срочно бросил к планете корабль Службы спасения. (С тех пор каждые пять лет на планету прибывают грузовые звездолеты, привозя необходимые материалы.)

Служба СПП (Спасение погубленных планет) отправила к планете Фантомов суперзвездолет «Фрам-5» с грузом необходимых материалов и специалистами различного профиля. Большинство их, как показала проверка списков, были Коновыми. И очень быстро этот клан охотников целиком переместился на планету, хотя условия жизни там прескверные.

Они спасают планету Фантомов.

Работы по воссозданию первоначального облика планеты ведутся ими уже вторую сотню лет. Удалось кое-чего добиться: Коновы восстановили прежнюю атмосферу, обнаружили и тщательно охраняют несколько квадратных километров Первичного Ила.

Но работы еще очень, очень много. И едва ли клан справится с нею за следующие двести земных лет. Но вызывает почтительное удивление самоотверженность клана, желание загладить преступление отдаленного предка (или всех предков?).

Не все шло гладко. Несколько членов клана погибли, один сбежал.

Это был единственный случай дезертирства: прочие Коновы лихорадочно работают.

Сменились поколения. Повышенное тяготение сделало Коновых приземистыми, сухощавыми, жилистыми людьми с очень быстрой реакцией.

Героическая работа клана стала известна всем. На помощь к ним прибывают и прибывают с разных планет родственники. А если судить по переписке Отдела Оживления, то Коновы уверены в восстановлении планеты в том виде, в каком ее застал Конов-Охотник.

Всесовет очень внимателен к Коновым. Накладные только за последний год показывают, что запрошенный ими биостимулятор для обработки кремнеземов и уран (120 тонн) для освежения ядра планеты были немедленно отпущены.

А на планету прибывают и прибывают добровольцы, потомки охотников других кланов, желающие восстановлением планеты Фантомов искупить прегрешения своих родов перед животными Земли.

Да сопутствует им удача!

Александр Сельгин.

Год 2702-й, месяца генваря 25-го.

Благодарю максимально помогавшее мне в работе САУВ (Считывающее Архивное Устройство Всесовета).

ПРОЗРАЧНИК

Таня села в постели.

— Что же произошло? — разбиралась она. — Да, случилось что-то странное и милое. Да, милое, милое...

Она приложила пальцы к глазам — помочь им вытрясти сонный песок. Ресницы затрепыхались под пальцами, и сами пальцы дрожали радостно. Эта радость побежала вниз и зашевелила ноги.

А радоваться-то было нечему — все Танины последние дни были отвратные: Вовка слишком материально посмотрел на жизнь. И вчера, и позавчера ей тошнота было. А сейчас даже радовалась чему-то.

Что же такое случилось?.. Да, прилетела ночная широкая птица и крикнула ей с подоконника. Потом был сон.

Нет, сон был до птицы.

Так — птица ей прокричала часа в три, когда Таня, всплакнув, уходила в сон, а до рассвета оставалась капля темного времени.

— Фу, глупая, — сказала Таня птице.

Вначале шло мелькание, какая-то беглая рябь — лица, лица, лица... Потом громко ударило, раскатилось, и в небе прорезалась алая стрела, повисло светящееся облачко... Так — стрела перевернулась облачком, а оно стало юношей с гордым лицом. Инопланетчиком.

Лицо юноши было строгое и прозрачное. Оно просвечивало насквозь. В таком все дурное разом увидишь. И не может быть в нем дурного, нет... Приятный сон оборвался вскриком ночной птицы. Птица закричала совсем рядом, близко.

Призрачная жуть была в птичьем крике. Таня обернулась к проему открытого окна и быстро прикрылась одеялом — птица, сидя на подоконнике, смотрела на нее горящими глазами. В них бегали оранжевые искорки.

— Убирайся! — приказала Таня. — Пошла вон!

— Бу-у! — крикнула птица Вовкиным басом и поднялась в полет.

Она пустила крыльями ветер в комнату, сдув все со стола на пол, и исчезла в темноте.

В лапах птица несла большую змею.

Об этом Таня узнала по злобному шипению.

Опору телу змея вернула, схватив метавшимся хвостом лапу птицы.

Лапа была твердая. Она была нужна только на миг — не более. И в этот самый миг гадюка отвердела — вся! — и ударила в птицу концом морды. Ударила в перья, жало заблудилось в них. Змея почувствовала бесполезность своего удара и опять зашипела, выдыхая отчаяние. Неясыть же метнулась в резком испуге и не заметила электрических проводов. Задела их.

Провода загревели страшным гудом и выхватили змею из ее лап.

Та повисла и закачалась на проводах перед вернувшейся гневной птицей. Еще покачалась — игривой черной тенью — и упала в кусты.

Земля была мягкая, ласковая сыростью и щекотливым касанием упавших листов. Под ними ползли большие червяки в виде лиловых зигзагов, ходила мышь, светясь теплом своего тела.

Она виделась змее розовым катящимся шариком. Язык желал коснуться этого шарика. Телу хотелось того же.

Змея хотела есть эту мышь, ощутить ее частью себя. Но в ней прошло тихое гудение. Оборвалось. Резкая судорога толкнула змею на дорожку.

Она позабыла мышь. Она ползла дорожкой, ползла открыто, ощущая жажду встречи.

Первые зорьные огоньки сели на ее глаза.

— Проклятая ползучая гадина, — сказала ей из окна Таня.

Она высунулась — налегке, с припухшими глазами.



Говорила со змеей сквозь зубы, угрожала ей бровями.

— Я бы убила тебя щеткой, — говорила Таня. — Но и тебе жить надо. Уползай, змея.

В раме окна колыхалась Танина фигурка. По ней пробегали мигания утренних светов, стекавших вниз, на подоконник, на колкие шиповники, на землю.

...Снова гуденье. Что-то оторвалось и ушло.

Змее вдруг стало страшно и пусто. Страх!.. Страх!.. Она торопливо ушла в траву.

— Сигурд... Сигурд... Перехожу на прием...

Владимир Корот дежурил эту кончающуюся ночь в машинном отделении на пятисотом этаже. (Чтобы не заснуть, он пил крепкий кофе.) Прислушался — молчание... Сказал на всякий случай:

— Я плохо вас слышу, Сигурд, измените направленность на десять градусов. Перехожу на прием...

И вновь прислушался: Корот знал, голос Сигурда нужно искать долго, с китайским терпением. Только шеф брал Сигурда легко, просто, сам.

В наушниках заворочался голос, короткими мелкими движениями. Будто насекомое.

— ...Говорит Сигурд... угол изменил... передач не будет... нахожусь в тепловых рецепторах гадюки... от транспортировки в Хамаган отказываюсь...

Это вышло ясно и твердо: «отказываюсь».

— Но, Сигурд! — вскрикнул Корот и прихватил рукой спадающие наушники. — Тогда наши планы рушатся. Что скажет шеф? А моя диссертация?

— Подробности... не дам... они выматывают... я вам... не ходячая электростанция...

— Сергей, послушай... Сережа! Сигурд!

Молчание. Корот поднялся. В расстройстве он даже кулаком ударил по столу. Черт бы побрал этих фокусников!

Он потянулся к телефону: сообщить, пожаловаться

шефу. И — опомнился. Светало, но в зашторенном кабинете шефа еще, конечно, ночь.

— Нет, — заворчал Корот. — Не могу же я поднимать старика ночью. Но каков свин этот Сигурд!

Встав, Таня решила: этот ее день будет холодный и синий.

Таня стала одеваться соответственно цвету дня. И хотя еще душевые холодные змейки, ползая по спине, шептали ей про шорты и белую свободную блузу, она решила: синее, и никаких!

И накинула синее платье.

Чутким глазам этот цвет говорил. Он скажет, что Таня несчастна и холодна, а с Вовкой покончено.

Цвет обязывал. Завтракая, Таня ела чуть-чуть. (Братишки-двойняшечки так и мели со стола тартинки и вареные яйца.)

Таня ела бутерброд и медленно выпила стакан чая с лимоном.

Выпивая чай, Таня глядела в солнечное окно и слушала, как шумно вздыхала бабушка — вместе с самоваром.

В сирени у окна возились серые мухоловки. Между веток виделась автострада — утренняя, розовая. В конце ее — город, в нем Танина работа. «Хорошенькая секретаришечка, — спрашивал шеф. — Что нового в печатном мире?» (Мир у старика, как и у отца, было множество: печатный, городской, телевизионный, Танин и т. д. Наверное, земной круглый мир представлялся шефу похожим на слоеный пирог. Оттого сбор журнальной и газетной информации был нелегким делом.)

Таня прикидывала свой день.

Про явившуюся утром гадюку: надо вызвать отловителей, пусть уберут зверя. Проблема Вовки... Бабушку полностью усложнит синее платье. С мамой хуже, с ней придется говорить словами. Не прямо (таким сло-

вам мама не верит и, слушая их, щекочет пальцем кончик Таниного носа).

Маме нужны слова косвенные.

— Какое небо... — сказала Таня. — В нем есть что-то арктическое.

— Ты так думаешь? — Мама взглянула на Таню.

— Да, облака — айсберги... Помнишь наш круиз?.. Остров Врангеля, июль, пароход, льды, любопытные нерпичьи головы, торчащие прямо из воды. Какие у них были прекрасные глаза!

— Да, да, их глаза удивительно похожи на глаза дочек Поленц. Я так сразу и сказала: Танюша, они похожи на дочек Поленц.

— Марина! — сказала бабушка. — Оставь в покое своих ближних.

— Но они же ходят...

— Марина!.. Повторяю, оставь своих ближних, человек еще не животное. Сейчас все на зверях свихнулось, вон зятек от мяса отказывается.

— Хотелось бы мне знать, — проговорила мама сквозь зубы, — когда здесь меня будут считать взрослой и разрешат иметь свое мнение хотя бы о глазах дочерей Поленц? Да, — говорила она, — я все сношу, все.

— Марина, не занимайся саморекламой, — раздраженно заметила бабушка.

Таня покосилась на папу. Тот молчал. Он ел, глядя куда-то в свои мысленные конструкции. Тане часто хотелось увидеть их глазами отца.

Он — тихий человек — любил придумывать шумные двигатели и трудился в ракетном центре. Там все ревел, гремело, взрывалось.

Пора идти... Таня вышла, поцеловав папину макушку и потрогав братиков за уши. Они отмахнулись головами.

«Уже превращаются в мужчин», — грустно думала она и остановилась у калитки.

Вьюнки, оплетавшие все, зашелестев, протянули к ней фиолетовые граммофончики, что было как-то странно. Таня обернулась к дому. (Уходя, она всегда прощалась с ним взглядом.) Ей всегда было хорошо и покойно здесь, до этого несчастного Вовки.

Посмотрела, но что-то прошло перед ней. Будто подули дымом. Дом закачался, исчез и появился снова. «Что это? Я плачу, дуреха?» — спросила Таня себя. Она потрогала глаза — слез не было.

Такие сухие, жаркие глаза...

Таня села в рейсовый ветробус. Она не знала, что с первым рывком машины вступает в полосу странных дней и пестрых событий, что жизнь ее пойдет в зависимости от них.

Садясь, увидела котенка.

Котенок был сер и лохмат. Глаза тоже серые. Из лап высовывались серые крючочки, впившиеся в пиджак кошковладельца. Они и держали зверька.

Котенок смотрел в глаза Тани. Взгляд его был вдумчив и пристален. Он явно делал наблюдения. Таня решила: лет через тысячу, когда животные страшно поумнеют, они будут смотреть именно так. Они станут менять нехороших хозяев. Про достойного человека будут говорить: «Его и кошки любят».

«Годилась бы я в хозяйки?.. Что можно сказать обо мне хорошего?.. Двадцать лет, год секретарю. Говорят, красивая (а умна ли?). И тьма недостатков».

— Кися, — сказала Таня, чтобы устранить натянутость. — Кисик мой хороший.

Сказала и вспыхнула жаром. А котенок до конца пути смотрел на нее. В глазах его бегали светящиеся мурашки, как у ночной птицы.

...Автодактиль, треща крыльями, поднял ее на площадку пятисотого этажа. Сел, Таня, поколебавшись, вышла — ее пугала высота города. И земля слишком

уж далеко: туман скрывал ее. А если и обнаруживалась в нем дырочка, то земля походила на обрывок карты.

Таня вошла в институтские двери. Здесь все нормально — дорожки и двери, двери, двери... Кабинет шефа. Таня вошла. Приоткрыла окна и, стараясь не взглянуть вниз, опустила жалюзи.

Пошла к себе.

На столе в плоской вазе была роза. Цветок ее черный, с багровыми прожилками. Маленький, сжавшийся, будто кулачок негритенка.

Отличный цветок!

Интересно, кто его принес? Таня, поставив зеркальце, поправила волосы, прижимая где надо ладошками. Вдохнула, убрала зеркало. Снова посмотрела на розу: та на ее глазах раздвигала лепестки. Они расходились и один за другим становились в положенный порядок.

Центр розы был красный, с большой водяной линзой. Она сверкнула и скатилась вниз, на полировку стола. Таня стерла водяную каплю пальцем, лизнула — так, пресная вода, аш два о.

— Работай, работай, — велела она себе. Но не выходили из головы юноша из сна, наглая птица, змея, котенок. В них был какой-то общий смысл. Но какой?

Таня вообразила себя шефом. Нахмурилась, занялась журналами. Быстро пробегала статьи, водя пальцем по колонкам. Заманчивое для шефа отмечала вставкой бумажных закладок — красных, синих и зеленых. Отчеркивала статьи для микрофильмов.

В двенадцать дня пришел шеф. Он был сердит. Но глазом это не замечалось.

— Никодим Никодимыч, — спросила она. — Правду говорят, что наша машина принимает мысли на расстоянии?

Шеф остановился — боком. Он покосился на нее, прищурив ближний к Тане глаз (тот был с красной жилкой).

— Случается. А что?

— Я бы могла с ней потелепатировать?

Шеф растянул свой рот до самых ушей: обиднее Тане за всю ее жизнь не улыбались.

— Я сказала глупое?

— Отнюдь. Но даю вам совет — телепатуйте, телепатуйте, но... но только молодым людям. «Чем нас прельщает девушка? Своими кудрями, своими синими очами, своими стройными ногами...» Так, кажется? Но есть, есть еще молодые люди, которые отдают свой пыл исканию научных истин. Их, их оставляйте в покое! Их!

Шеф погрозил Тане пальцем и грохнул дверь. Гул прошел между стен и родил четыре эха. Каждое родило еще четыре. И звуки спутались, сплюсовались в тихий голос.

— Не огорчайтесь, Таня, — сказал этот голос. — Старик прав, но по-своему. Будет и у нас все самое лучшее...

Дверь тотчас раскинула створки.

Шеф влетел.

Остановился.

— Ага, здесь! — крикнул он. — Здесь! Приманила! Сигурд, отзовись! Приказываю! Прошу-у-у... — Шеф склонил голову, прислушиваясь.

— Это пришелец? — спросила Таня.

— Хуже, гораздо хуже. Объясню — физики нащупывают новое состояние материи. Фантастичное! Его овеществляет в себе один, только один человек. Кудесник! Гений! Монополист! И вот институт, я, работа — все зависит от него... Эх! — Шеф махнул рукой и ушел к себе, оставив в дверях щелочку. Он ходил, вздыхая за дверь, и временами старческое ухо прижималось к щели. И Тане было жаль шефа, особенно его седое ухо.

...А в обеденный перерыв роза исчезла. Должно быть, ее стащили.

Остаток этого месяца не принес Тане ни радости, ни печали. После общего психоза с каким-то Сигурдом в институте установилось спокойствие с привкусом безнадежности. Многие сотрудники ушли в отпуск, остальные бестолково суетились, бегали растерянно.

У Тани были свои тревоги. В ней проявился магнетизм. Например, в саду к ней тянулось все — травы, цветы, ветки...

Таня сначала пугалась. Привыкнув, ставила вполне научные опыты. Например, держала руку над полегшей в дождь травой, и та поднималась, шевеля длинные зеленые тельца. Даже цветы распускались в ее присутствии.

Но не всегда было такое. Иногда Таня простирала руку и велела: «поднимайся, трава» или «расцветайте, маки», но трава оставалась полегшей, а маки нераспустившимися зелеными кулачками.

Приятнее всего было вечерами, в сумерки.

Белели звезды пахучих табаков. Древесные кусты пухли, заполняли собой весь сад.

Все растительное пахло так сильно, что у папы начинались мигрени. Теперь, пообедав, он уезжал в городской пансионат, расположенный на самом верху, в облаках.

Там, поставив маленький телескоп, он вечерами созерцал пригороды, ночью — звезды...

Мама, подходя и садясь на скамью рядом с Таней, говорила:

— Танечка, маленькая, я так понимаю: аромат — это речь цветов. Они говорят тебе. Ты слушай их, они плохого не скажут. Надо жить нараспашку, простым сердцем, как живут цветы. Ты удалась мне, маленькая, ты мой цветок, ты моя красулочка.

Таня слушала, и ей стало казаться — она ширится и все берет в себя — и слова, и запахи, звезды табаков и те звезды, что так далеки в небе; и высотные папины самолеты.

...Темнело. Загорелись окна. За десять домов от них гоготал, изображая веселье, Владимир.

— Фу-у, — корила она себя. — Я становлюсь мечтательницей. И словно жду чего.

Но ей было очень хорошо в такие вечера, и сон казался потерянным временем.

Затем пришел час встречи.

Таня не поехала домой, пообедала в кафе. А там спустилась на лифте вниз и пошла в театр смотреть «Планету Астру». Театр был в парке и походил на древнегреческий.

Актеры работали до седьмого пота. Они преображались прямо на сцене, летали на «воздушных подошвах» и т. д. и т. п. Но декораций не было, планету приходилось воображать.

Очень интересно, только болела голова.

После театра хотелось поболтать. Но Таня была одна, до последнего ветробуса оставалось часа полтора, можно было и не спешить. Таня пошла в парк — ценители лунных эффектов бродили по его дорожкам.

Таня шла по своей тени, как по коврику. Думала о Вовке.

Сегодня в машинной она слышала скандальный разговор. (Ассистентские тенора и басы доносились явно. Шеф же прослушивался в промежутках голосовых взрывов.)

Таня приложила ухо к двери, запретной для нее.

По слухам, странная машина за этой обжелезенной дверью подманивала пришельцев. Наверное, в ней что-то не ладилось.

— Затраты сил, затраты средств! — Это кричал рыжий Боневич, родившийся со счетами вместо человеческой головы. Он всегда небрит и взлохмачен, и странно, что его любит жена.

Вдруг уши Тани загорелись — сквозь дверь шел

Вовкин голос. Он уверенно, твердо выговаривал слова, будто нарезал их ножиком.

— Мы... вложили... слишком... много... средств... Сергей... забыл... что... является... только...: частью... системы... только зондом... в наших... руках: Мы не можем без него, это верно, но и он без нас ничто! Кто его будет транспортировать? Тратить мегаватты? Что он для других? Давайте частично вернем прежние методы (вдруг в крике спутались все голоса). — Таня, угадав общий выход, прошла на свое место. Села, уставилась на стопку журналов.

«Ладно, разберемся, — думала она на ходу. — Вовка... Противный голос, самоуверенность, шуточки его плосколобы. Силен, бицепсы, трицепсы! Он заработал их, скача по спортплощадкам. Не зря шеф говорит, что мозговые Вовкины структуры пленочного характера. Зато внешнее оформление на уровне. Блеск! Треск».

Сигурд сел на скамью — нога на ногу.

Место ему определенно нравилось. Бузина подняла лапистые ветки. Он протянул было руку, чтобы щипнуть лист, но спохватился. Он думал в ожидании Тани, думал, что еще свободен, что перед ним лежат два пути, прежний и новый.

Под кустами шатались коты. Двойные огни их глаз мерцали повсюду. Это был народ, выдавший разные виды. Такой именно кот и вскочил на скамью. Он был громаден и неряшлив и носил только половину хвоста.

Сигурд махнул рукой, но кот не обратил внимания и прошел сквозь него.

— Проклятое животное, — засмеялся Сигурд. — Не путает сущности с видимостью. Пугнуть его? Пугну.

Он напрягся и стал светиться ламповым светом. Коты шарахнулись, но послышались человечесьи шаги. Шаркающие. Сигурд понял — человек идет сюда. Он стар и потерял гибкость психики. Уйти?.. Но сюда идет

Таня. Оставался короткий выбор. Сигурд напрягся и стал пожилым человеком с морщинами и одышкой.

Он хрипло закашлялся.

— Добрый вечер, — сказал ему старик в черном, — Разрешите присесть?

— Располагайтесь. — Сигурд кашлянул еще раз. Потом объяснил свой кашель ночной прохладой.

— Что там прохлада, все старость проклятая, — задребезжал старец. — Ранее никакие кашли не вязались. Одно я одобряю в этой проклятой старости — женщины не беспокоят. Ранее то влюблен, то разведен, то тебя бросают, то сам кого-нибудь бросаешь. Такая у меня сейчас и мысль в голове: старость — проклятая штука. А раньше и подумать было некогда.

Старик ковырнул палкой маленький лопушок.

— Хоть бы мысли людей видеть в старости, — вздохнул он.

— Верно заметили, — захрипел Сигурд. — А вы как думаете, стоит видеть мысли людей?

— Со временем, я полагаю, мы получим это развлечение.

— Скучные будут времена, — сказал Сигурд. Он и сейчас видел человеческие мысли. Не их суть — это было скрыто — он видел цвет мыслей.

Они могли быть синими, зелеными, серыми, красными и даже черными.

Между кустами мелькнули силуэты гуляющих. Их мысли были как вспышки. Иные люди пыхали золотыми лучиками идей, кто-то просиял розовым. У одного гражданина мысли были льдисто-синие, полярные.

Молодежь пылала зеленым — семафорным — цветом.

А вот в черепе старика лежат черноватые угольки. Так, малая пригоршня. Сигурд поверил, что дед женился и разводился. Любовные тревоги взяли его досуг, он остался с неразвитым мозгом и скудным запасом мыслей. «Ведь урожай их закладывался в молодости. Надо

думать, спешить думать... Но какая это чепуха — мысли... Старик прав, надо много любить и много страдать.

Кстати, много любить — не значит любить многих».

(В него вошли волны чужой мысли: шеф звал его.)

«Они счастливые, — думал Сигурд. — Они гуляют, наслаждаются, страдают — и в этом самое большое их богатство. Я же вечно привязан, и нет мне свободы».

Шеф нудил:

«Сигурд, вы можете понять старого человека? Мои дни уходят, мне некогда. Отзовитесь! Перехожу на прием». (Сейчас он вслушивается, сжимая руками свой череп.)

«...Сигурд... Сигурд... Сигурд...» (Это машина.)
«Я жду... я жду... я жду...» Эти волны шли прямо в мозг щекочущей вибрацией.

«Не хочу! — твердил Сигурд. — Я устану, страшно устану, а мне надо быть свежим и бодрым... Я оборву волну... отброшу волну. Вон! Пошла!»

Борясь с волнами, Сигурд ощутил Таню. Она подходила к скамье. Между ними еще лежал промежуток времени, наполненный работой. Первое — обрыв волны. Второе — изгнание старикашки. Сигурд сделал это разом: напрягся, отбрасывая волну и сжимая волю до тех пор, пока его свечение не вырисовало все жилы на листовенных пластинках бузины, сделав ее ржаво-тяжелой.

Старичок вскочил, закричал:

— Эй, эй! Гражданин!

Пиджак его расстегнулся. Старик производил тростью дрожащие фехтовальные движения.

— Эй, ты, вы, бросьте!.. Вы, ты не смеете!.. У меня будет спазм, вот увидите...

Старичок ткнул тростью прямо в грудь Сигурда и увязил ее в кусте, росшем позади. Он издал междометие, выдернул трость и побежал. Сигурд, глядя вслед, ощутил мозговой покой. Это ощущение оборвалось следующим: «Она — рядом». Он увидел высокую фигуру Тани. Его посетило двойственное желание. Ему хотелось

быть здесь и далеко отсюда, в Амазонии. Там гущина, джунгли, лягушачьи дикие вскрики, болотные огни. Этот период колебаний сделал его расплывчатым продолговатым пятном.

Таня заколебалась у входа в приятную беседку. Показалось, там есть кто-то. Сверкнула догадка о Вовке — прячется. Он способен. Кажется, его шевелюра маячила в переднем ряду.

Таня выбрала самый сердитый голос. Спросила:
— Занято?

Молчание.

Заглянула — никого. Таня вошла и села на скамью. Она вздохнула, положила сумочку на колени, зажмурилась. И все заговорило с ней своими ароматами.

Говорила влажная земля — испарениями: «Я добрая, я питательная. Пока ты здесь, я кормлю тебя, перестанешь быть — успокою».

Заговорили бузиновые кусты. Они рассказывали Тане, какие у них листья — послушные и обильные, пахнущие так же, как лесные травы, если их долго разминать в пальцах.

Кусты шептали ей о горьковатой серой коре, обтягивающей стволы, рассказывали о корнях: те обреченно сидят в земляной темноте, чтобы все остальное могло свободно пить солнце.

Потом ветки потянулись и обняли ее, щекоча.

— Какая я фантазерка! — воскликнула Таня, опомнившись, и села прямо, положила руки на колени.

Ей было хорошо. Она даже не обиделась на прилетающих комаров — пусть! Но комары ее отрезвили. Она стала махать на них руками, отталкивать лезущие к ней листья бузины.

— Здесь нет удивительного даже на мизинчик. Все движется, в растениях совершаются процессы движе-

ния, — рассуждала ученая Таня. — Цветы раскрываются утром и зажимают свои лепестки на ночь.

Таня вспомнила розу и прижмурилась на минуточку, воображая водяной глаз. И ей стало отчего-то стыдно. Ах, фантазии! Лучше припомнить пьесу. Она старая, ее помнят и мама, и бабушка. Может, вспомнит папа. Они спростят ее.

— Так, — сказала Таня и снова зажмурилась. — Основная мысль этой пьесы...

Тут она раскрыла глаза и ахнула — рядом с ней сидел молодой человек. Это был не Вовка, а чужой молодой человек.

Таня резко поднялась. Незнакомец остался сидеть, но сжался.

— Не сердитесь, пожалуйста, — попросил он Таню. — Я немного посижу и пойду себе.

Таня рассматривала его. Странно, но и в темноте он был ясно заметен. А рубашка его снежно мерцающая. Новая синтетика? Примешали светящееся?

От рубашки падал свет на его лицо. Оно было ничего себе, хотя простоватое, недалекое какое-то. Безопасное.

— Я понимаю, — сразу догадался сжавшийся человек. — Мое лицо вам не нравится? Да?.. Если хотите, я сделаю его другим. Понимаете, я хотел представиться вам натуральным, чтобы без обмана.

— Я буду вам очень обязана, если вы освободите скамейку.

— Пожалуйста.

Молодой человек был покладист. Он взлетел в воздух. Его башмаки находились теперь на уровне Таниной головы.

— Мое лицо отчего-то вообще не нравится женщинам, — сообщил он сверху. — Я его сейчас улучшу. Хотите, будет испанское, с бачками? Или лицо экваториального негра, человека с жадным аппетитом к жизни? (Он подождал ответа.) Лицо Байрона? Наполеона?..

Таня села на скамью и коснулась затылком ветки.

— Понимаю, вы мой сон, — сказала Таня. — Я устала на спектакле, пришла отдохнуть и заснула на воздухе. Или я еще в театре?

— Глупости. Вокруг вас кусты, в них моционят кошки. Видите их глаза? Вон там... Еще... еще... А по дорожкам бродят любители свежего воздуха.

Таня слушала молодого человека и повертывалась в разные стороны. Было все, о чем говорил ей этот человек, было и многое другое, творившее рельефную летнюю ночь.

Коты жестоко дрались в близких кустах, трещали ими. Но кончили драку, красиво запели в четыре подобранных голоса, переплетая их. С пением они кинулись вон отсюда. Их голоса быстро убегали.

В небе неслись, перевывая, тройные самолетные огни.

В телефоне, лежащем в Таниной сумочке, гудел мамин голос.

— Таня... Таня... (Мама звала из сумочки.) Ты скоро? Мы заждались, не опоздай на последний ветробус.

— Не-а... — сказала ей Таня. — Я счас. — Она зажмурилась и прижала глаза пальцами, твердя: — Сон... сон...

— Пусть будет сон, — прошелестел голос.

Таня раскрыла глаза — она была одна. Но в ней все дрожало — радостно.

— Я же знала, это только сон, — сказала она. — Только сон.

И прижала ладонью рот, чтобы не вскрикнуть, — он был здесь. Юноша сидел с ней рядом. «Значит, это не сон, не сон...»

— Простите, — сказал он и нахмурил брови. — Я все-таки не могу без вас. Не могу, и все!

— Чепуха!

Таня страшно рассердилась. Но рот ее улыбался, пальцы сжимались и разжимались.

— Вы, мужчины, ужасные нахалы, — добавила она.

Упрек поразил странного юношу. Он схватился за голову, вскочил, сел обратно.

— Знаете, — сказал он. — Договоримся сразу. Я не буду вам говорить избитости вроде того, что вы красивы. Здесь другое: я должен видеть вас. Смотреть!.. Смотреть!.. Глядите, глядите на меня внимательно. Не бойтесь, придвиньтесь ближе. Еще, еще... Возьмите фонарик из сумочки. Так, верно. А теперь придвиньте эту дурацкую штуку мне за спину. Видите?

— Вы прозрачны! — воскликнула Таня в ужасе.

— Бесплотен! И вот люблю вас. Не правда ли, странно?

Тане казалось, он расплывается, уйдет. И все кончится.

— Ужасно, ужасно... — твердила Таня. — Он любит меня.

— Люблю, — кивнул тот. — Я себя проверил, можете не сомневаться. И не спешил — мне это не к лицу.

Таня помахала на себя ладонями. Щеки ее горели.

— Давайте будем рассуждать, хладнокровно рассуждать, — говорила она.

— Рассуждайте, — предложил он. — А меня увольте, я не могу. Если хладнокровно рассуждать, я сейчас должен быть совсем в другом месте.

— Рассудим... Первое — вас не должно быть здесь, вас нет вообще, вы сон!..

Таня с торжеством посмотрела на молодого человека. Но он был здесь, высокий и тонкий.

Таня поразмышляла еще:

— Ага, догадалась, вы гипноз?

Таня развила идею:

— Вы полюбили меня (человек так и потянулся к ней) и решили меня гипнотизировать. Правильно? Вы не здесь, вы в другом месте, я вижу ваш мысленный образ.

Установилось молчание. На скамью ложилась ночная роса.

— Из-за вас я не выплюсь сегодня, — пожаловалась Таня. — А теперь уйдите. Гипноз кончился, я сочувствую вам, но полюбить не смогу. Никогда. Вы так далеки от меня.

— Гипноз?.. Это мысль, я мог это сделать, — заговорил юноша. — Прежде чем... Я как-то не подумал, простите... Нет, я хочу быть тем, что я есть. Я Сигурд. Сергей. И. Гурдин. Вспомните — наш институт, шеф, ассистенты, машина... Это для меня, а я для них. Я единственный в мире человек-уникум, проникаю в тайну живого, а не могу обнять вас.

Уныние пришло на лицо Сигурда.

— Уходите, — сказала она. — Стойте, розу вы принесли?

Но Сигурд исчез мгновенно. Некоторое время еще подержалось облачко не то на скамье, не то в памяти и рассеялось. Тане стало страшно. Она поднялась и побежала дорожкой.

Котенок дремал на плече впереди сидящего гражданина, клевавшего носом. Плечо человека было огромное, котенок лежал на нем косматой лепешкой. Коготки его цепко держали сукно. Это был тот — знакомый котенок.

Он подрос и похудел, но был именно тот.

— Кись-кись, — сказала Таня. Гражданин, клевавший носом, вздрогнул и обернулся. Лицо у него было пожилое и широкое, типа поднос. Небритый. Свисала изжеванная нижняя губа. Ворот рубашки расстегнут. Голос тонкий, будто в дудочку.

— Вот они, люди. Попросят животное — и отказываются, — желчно пропищал он. И сморщился, собрав в морщины необъятное лицо.

— Нехорошо, — отозвалась Таня. «Бедный, должно быть, вдовый», — жалела она.

— Гнусно!.. Котенок пачкает, котенок необразован, котенок испортил ковер.

Сосед становился багровым и даже страшным.

— Человек, гомо сапиенс, овладевает горшком только на второй год своей жизни и то несовершенно, а котенку всего был месяц! Он и сейчас еще молочный, этот котенок.

— Сосет?

— Лакает... Да еще и полакал из чьей-то там чашки! А животное это самое чистое. Я с удовольствием выпью после кошки и остерегусь сделать это после одного знакомого человека. По секрету: живет такой двуногий, после которого ни одна уважающая себя муха есть не будет... А теперь изволь опять искать желающего. — Он вздохнул, как насос.

— Отдайте его мне, — попросила Таня.

— Решено! — воскликнул человек.

Он снял лепешку с плеча и передал ее Тане. Котенок был сонный и горячий. Он позевывал, жмуря глаза, и язык его выставлялся в виде узкой красной стружки.

— Кисик, кисик, — говорила ему Таня.

Котенок заснул у нее на коленях.

...Калитка подавалась туго. Таня сразу поняла — это к дождям. У них всех были приметы — такая метеорологическая семейка.

Бабушка следила за своим прострелом, папа — за переменами настроения, мама — за облаками накануне дождя, близнецы — за клевом мелкой рыбешки, проживающей в верховодье их пруда.

Самые верные приметы были у Тани и бабушки. Когда они совпадали, дождь был просто неизбежен, как приход ночи или наступление утра.

Таня не стала захлопывать разбухшую калитку: в доме спали. На веранде горела ночная лампа. Свет ее падал на кусты.

В саду — прозрачный туман.

В небе — хоровод нетопырей. Они резвились, близко, смело налетали на Таню. Ей показалось — хотят сцепиться в волосы или сесть на ее белое платье.

Она заторопилась на веранду. Прикрыла дверь и пустила котенка на пол. Тот вздрогнул и стал ходить, знакомясь с мебелью.

Обошел все, приласкался к каждому стулу и сел, тихо мяукнув.

Таня осмотрела тарелки на столе. В одной лежал зеленый салат, в другой немного фруктов — персики, груша, два кислых на вид яблока. Их бабушка находила полезными для Таниных зубов.

В тарелке, прикрытой газетой, было холодное мясо.

— Ты, плотоядный хищник, иди-ка сюда, — сказала Таня.

Котенок подошел и стал урчать.

— А еще молокосос, — сказала Таня и отдала мясо. Сама съела персик. Он был приятно кисл и горек.

Сигурд телепатировал. Исключительное напряжение делало его синим. Он мерцал, вздрагивал внешним очерком фигуры.

— Я — Сигурд... Сигурд... Вы меня слышите, шеф?.. Слышите?.. Я согласен, согласен.

Старик проснулся и сел на постели. Коснулся босями ступнями пола, вздрогнул и поджал их, скрючив пальцы.

— Голос, я слышу голос.

Он вскочил и побежал к столу. Сел за него, прикрыл лицо руками. Посидел, боря дремоту. Затем проглотил таблетку.

— Да, да, да, милый Сережа, — кивал он. — Я слышу, все слышу.

— Проверку комплекса хищник — жертва отложим. Не вышло. Работу тепловых рецепторов гадски я доисследую потом, — говорил Сигурд. — Сегодня займусь вне графика нетопырем... Согласны? Да?

— Да, да, все, все, что хочешь.

— Спасибо...

Растянулись круглые огоньки, искры мошек сошлись в слепящую дымку. Нетопырь бросил себя в эту манящую дымку.

Крылья зашевелила вибрация. Он услышал тонкое гудение своих перепонки и растопырил коготки лап. Сквозь пальцы со свистом прошли рассеянные воздушные струи.

От восторга поднялись все шерстинки.

Нетопырь ликовал. Он кувыркался в промежутках проводов, вильнул у светящегося изолятора, прошел над верхушками деревьев.

Всходила луна.

Она была светозарна. Нетопырь давно видел ее отсветы за горизонтом. Но луна взошла очень поздно, она долго лежала, долго зрела за брошенными на землю черными лесами. Но взошла — огромная на коричневом небе. На ней были тени лунных гор.

Нетопырь осветился ею. Он с писком кинулся вниз — во тьму, в деревья.

Здесь было глухо и темно, была путаница: ветки тополей, черемух, лип... Ниже их — дома. Здесь глаза лишние, они лгали. Нетопырь велел им плотно зажмуриться. Он закричал сверляще-тонко:

— ...Пи... пи... пи...

Звуки улетали, ударялись и, отскакивая, возвращались обратно, градом стучали в перепонки.

Стучались все звуки, что, ударяясь, отскакивали от веток и листьев, от столбов и насекомых. И Сигурд отметил, что крыльям древесные ветки казались гуще и косматее, чем были на самом деле.

Он видел — крыльями — рои ночных мошек и ощущал перемещения их.

Видел — крыльями — прерывистые трассы хрущей и лохматые клубки ночных бабочек. (И хватал их, и пожирал на лету.)

— Пи-пи... пи-пи... пи-пи... — кричал он, шмыгнув мимо плясавших мошек. Он несся к луне.

Она казалась ему светящимся отверстием, его несло в ее горячий рот. Он видел луну собой, ощущал ее всем хрупким сооружением тела. Она звала к себе, но зов ее был двойным: нетопырь ощущал спиной подъем серой лунной радуги. Он летел выше, выше...

Луна звала его, манила, осыпая звездчатым дождем световых корпускул. Сухим листиком нетопырь заматался в холодных высотных течениях, среди темных и неизвестных еще ночных птиц. И снова кинулся вниз, в отсветы фонарей, в красные лунные тени.

Таня отпросилась домой и стала помогать в кухне. Но все у нее валилось из рук. Бабушка прогнала ее, Таня ушла в сад. Перед дождем (а начиналось погодное безобразие — шли ежедневные дожди) все население их сада шумно ворочалось в травах и листьях.

Летали рыжие комары, гудели синие мухи, перелетывали травяные моли. Жуки ползали по дюралевым косякам окон.

При таком насекомьем изобилии в сад налетели ласточки-касатки с черными хвостовыми вилочками. Они, проделывая воздушную акробатику, вылавливали мошек.

Особенно красиво работала одна. Она вскрикивала, налетала близко, показывая Тане то белый жилетик, то красное пятнышко. Она безотчетно нравилась Тане. Думалось: было бы счастьем летать вот так.

Устав, ласточка присела на косяк и глядела на Таню. Малюсенькая, но так хитро, так ловко устроенный летательный аппарат. И клюв маленький, и краснотца на щеках — следы небесных зорь.

— У, малюня, — сказала ей Таня и протянула вперед губы. — Моя славненькая, маленькая!

И вдруг догадалась: он!..

И стала наливаться жаром. Под ладонями раскалялся оконный косяк.

— Сейчас же уходите, Сигурд! — велела она.

Ласточка смотрела. Глаза ее — черные пятнышки — слишком пристальны для дикой птицы.

— Уходите! Чтобы я вас больше не видела. Безобразно быть таким прилипчивым.

Ласточка взлетела, загнула в воздухе сложную кривую и скрылась из глаз. Совсем.

— Сигурд! — крикнула Таня вслед. — Вернись! Ой, что я наделала... — Она схватилась за щеки.

«Обиделся, обиделся. Пришел, а я его выгнала. Летал, устал, а взяли и выгнали, взяли и выгнали. Так ему и надо. Пусть летит, пусть другую найдет. Только помнит, что та не полюбит его таким...» Опять налетели ласточки, но другие, городского типа. Кричали стрижи; вечер шел своим чередом, пустой и ненужный.

И чтобы наказать улетевшего Сигурда, Таня поговорила по телефону с подругами (советы о прическах). Приготовила салат к ужину. Особенный салат — из яблок, капусты, лука и белой смородины. Папа долго рассматривал его, нацепив очки, и взял одну только ложку. Мама глядела на Таню с любопытством. Погрозила пальцем.

— В тебе я сегодня чувствую что-то грозное. Знаешь, снежные тучи, а в них спрятанные молнии, — сказала мама. — В теперешнем настроении бойся себя.

— Марина, не говори глупости, — сказала бабушка. — У девочки возрастное, а ты говоришь бог знает что! Оставь ее в покое, пей чай.

Мама обиделась и ядовито спросила:

— Могу ли я заняться воспитанием собственной дочери?

— Тебя саму еще нужно воспитывать. Как ты подавала сегодня гренки? Они были зажарены только с одной стороны. Твое счастье — в тихом характере Бориса.

— Ах, опять эти пошлости!.. Выбери другой пример.

— Тысячу! Ты пренебрегаешь маринованными медузами, а они полезны моей щитовидке...

Поужинав, Таня ушла к себе. Свернулась в кресле, накрылась пледом. Почувствовала себя такой усталой, одинокой, некрасивой. Все, все врут о ее красоте.

Ей захотелось умереть и лежать во всем белом. Будто невеста (в волосах бант, оборочки кружевные). Сигурд прилетит к ней — ласточкой — и сядет на край гроба.

Вообразив себя, гроб и Сигурда, Таня заплакала.

Она плакала долго, обильно, она захлебывалась слезами. Они были особенные, таких она еще не знала. И вообще раньше она ничего не понимала, жила дура душой. А вот теперь знает, а что проку — все кончилось.

— Про-гна-ла... — шептала она. — Про-гна-ла...

Устав от слез, Таня заснула. И сном ее горе кончилось.

Придя на работу, Таня все смотрела на порожнюю вазу. Никто не ставил ей цветов. Таня несколько загрустила и подумала о мужской черствости. «Он как дым, этот Сигурд, — думала она. — А если его поцеловать? Как это почувствуется?» Идея поцеловать Сигурда была столь же странной, как целовать журнал или самого шефа. Она застеснялась, робея, но лукаво почувствовала свою женскую командную силу.

Такое щекочущее, такое сладкое ощущение.

«Он как туман», — думалось ей. И она тянула и тянула губы. Целовать туман смешно, но что бы он сказал при этом? Где он сейчас?

Она даже не уверена, что все это правда. Было или не было?.. Непонятно. Но отчего-то все мужчины теперь казались такими мясистыми, такими щетинистыми. «Было, было...» Она капризно вытянула губы.

— Поцелуй! — приказала она.

Подождала — ничего.

— А ну! Целуй! Сейчас же! — требовала она.

И странное ощущение посетило Таню. Показалось — воздушный поток вентиляторов скрутился в воронку и стал прижиматься к ее губам. Пришло и ощущение мелкого электрического щипанья. Микроразряды щекотали ее губы.

Таня полузакрыла глаза.

— О-ох! — вздохнула она. Откинувшись на спинку стула — в вазе раскрывалась свежая астра. Лепестки ее еще продолжали свое движение — резкими толчками.

А в приоткрытую дверь на нее глядел шеф. Он припустил очки на нос и смотрел на Таню поверх оптики. Его лобные морщинки сбились в гармошку.

Таня под взглядом шефа налилась краской. Шеф молча закрыл дверь и стал за ней возиться. Через минуту он вышел в пиджаке и галстуке. Торжественно ступая, шеф подошел к Тане. Она выпрямилась. Но шеф не смотрел на нее.

Он в лупу стал рассматривать цветок. По его лицу туда и сюда ходили желваки и красные пятна.

— Это я принесла, — стала объяснять Таня.

Шеф и не взглянул. Он сунул лупу в карман, кашлянул, потрогал пальцами галстук.

— Сигурд, — сказал шеф астре. — Я всегда считал себя вашим другом. Больше того — вы мне как сын. Откроюсь до конца — вы мне дороже сына.

Астра молчала. По ней ползала оса цвета анодированного алюминия. Шеф взорвался.

— Черт возьми! — закричал он. — Ты можешь прикидываться сколько тебе вздумается. Но что будем делать мы? Прикажешь разогнать институт? На тебе держится план и график. Оставь свои штучки! Каждый упущенный час — это потерянное знание.

— Мне бы хотелось кое-что решить самому, — сказала астра. Тихий звук разошелся по комнате. Или собрался?

— Я понимаю тебя, понимаю. — Шеф покраснел. —

Но что нам делать? Мы завалили теплорецепторы змей, ахнули тему симбиоза хищников и жертв. Медицинститут передал нам изучение спинальных нервов. Сам знаешь, для этого им не хватает ни кошек, ни крыс. Сотнями губят. Тысячами! У нас целая очередь на тебя. И вот Кимов запорол диссертацию. А что будет с Коротом? А?

— Пусть, — упрямылась астра.

— Перечисляю: ты не поехал в Хамаган! Нетопыря недонаблюдал. Была работа по действию гипофиза жирафы, а что сделал ты? Фьюить! Исчез! Знаешь, чем это кончилось? Они взяли отличную жирафу и... и отправили ее к чертовой матери. Чучело они сделали из нее, вот чем все это кончилось! Ты не нас, ты зверье пожалей!

— К черту всех жираф на свете! — раздражительно произнес цветок. — Имею я право жить для себя или нет?

— Но как?

— То есть?

— Вы же бесплотны в этом состоянии, мой молодой друг. Житейски бесплотны.

— Перейду в другое.

Шеф расстроился окончательно.

— Сигурд! Не говори глупости! Это неизвестно как... Тогда все рушится! Сигурд, я... я старик. Я скоро умру. Понимаете? Мне так ценно время, а я ничего не успеваю. Ничего. А нужно так немного: нетопыря и его реакции. Термоглаз змей. Подземная ориентация крота. Кое-что еще. Это ведь и твои, и мои работы, и наши, и всех.

Расстроенный шеф сел на стул, свесил руки, короткие и толстые. На кончике его носа повисла капля пота.

— Жизнь впустую, — бормотал он. — Впустую...

Таня разглядывала шефа словно впервые. Пальцы, сжимавшие платок, были толстые, волосатые, с короткими ногтями. Стариковская толстота была рыхла, она

содержала в себе не менее ста кило той плоти, от которой добровольно отказывался Сигурд. Такой милый... Но вот зашевелились морщины, задвигались веки старика. Таня знала, так в шефе проступает таинственный процесс думанья.

— Сигурд, — начал он. — Ты извини, я погорячился.

— Принимаю, — произнес голос, но из пространства. Астра обвисла всеми лепестками. Сигурд принес ее («Значит, не так уж он бесплотен», — догадалась Таня), а сам витал где-то в комнате. Должно быть, у открытого окна.

«Как бы шеф не закрыл его», — забеспокоилась Таня (она перехватила его косой взгляд).

И пронесся торжествующий голос Сигурда:

— А я на подоконнике... Сижу и свесил ноги. Черным цветом вы подумали, шеф, черным. Но поздно.

— Я думал об этом с самого начала, — обиженно пробормотал шеф. — Но что это могло дать?

— Правильно. Ничего!

— Поэтому я приглашаю вас серьезно говорить со мной, Сигурд. Она тоже будет, она может спорить со мной. Вы согласны, Таня?

Она кивнула.

— Сигурд, вы и сейчас единственны и долго будете единственны. Вы — главная исследовательская сила нашего института.

— Это говорит старая лиса.

— Так говорили мне физики и психофизиологи, и вы знаете это. Раз! Второе — мы связаны, мы две стороны одного дела — науки познания. Третье — сейчас ей кажется, что она любит вас или собирается полюбить. Поверьте мне, в ней говорит молодость, пышущая хорошими намерениями, молодость, стремящаяся к необычному. А что может быть необычнее вас? Космонавты приелись. Инопланетные?.. Где они? И вдруг такой человек! Молодой! Совершающий путь в непознаваемое! В глубины! Всякая влюбится. Но, возвратясь в обычное

состояние, вы станете как все. И она найдет людей интереснее вас, потому что вы человек увлеченный. А женщины недолго любят витающих мужчин, поверьте мне. Мы часто шутим на популярные темы, но женщина (простите меня, Таня) — это земля, прекрасная, дающая жизнь земля.

— Никодим Никодимыч! — воскликнула Таня.

— И сам знаю, что я Никодим Никодимыч! — отмахнулся шеф. — Сигурд, верь мне. Уйдя из всепроникающего состояния, ты будешь несчастен, станешь томиться, поедом есть жену и детей. Почему? Да потому, что твоя жизнь — это искусство, приключение, сокровище. Ты не простишь ни себе, ни ей, что потерял его. Кроме того, ты ведь... Помни — машина... она ждет.

— Я могу сказать одно, — вмешалась Таня. — Сигурд, вы мне нравитесь именно таким.

— Спасибо, — голос Сигурда приобрел холодный оттенок. И шеф обидно ухмыльнулся, моргнул ей веком левого глаза.

— Сами видите, Сигурд, у этой особы любовь к вам сидит не в сердце, а в голове. Сердце — алогичная штука, ей-ей...

Таня вспыхнула. Ей вдруг стало так совестно, так совестно. Она откинулась лицом в руки, и в темноте сжатых глаз, вдруг расцветившейся узорами, она поняла — их разговор был недостойный... Шеф коснулся ее сердца. «Этими толстыми руками, волосатыми пальцами!.. И вообще, что это все мужчины вдруг заговорили о любви? Что они понимают?»

Когда Таня отняла руки от лица, шеф осторожно прикрывал окно. Он опускал створку, придерживая ее рукой. Выглядел заботливым толстым папашей.

— Вы можете простудиться, здесь сильный сквозняк, — говорил он, не глядя на Таню. -- Мы обо всем с ним договорились... мысленно. Я поднапрягся и понял его, вполне. Я дал ему две недели отпуска на устройство и так далее... Одним словом, не сердитесь на меня,

я защищал достояние нашего коллектива, а вы — только свое. Мой совет: защищайтесь! Боритесь! А лучше бросьте-ка все это. Право, бросьте!.. А?.. Я как отец... — И он пошел, тяжело потянул за собой ноги.

Таня увидела, что при всей официальности его черного пиджака и черной бабочки обут он был в домашние туфли в форме ржаных лепешек. И цвет их тот же.

Из ушей его торчали одинокие седые волосики.

Она проснулась глубокой ночью, и потянулась сладко, и зевнула, говоря: «А-а-а...»

В кресле, напротив, сидел Сигурд и смотрел на нее. В позе его было что-то от рабского поклонения.

— Пришел... Пришел-таки, — заговорила Таня. — Вы мне снились приятно синим, сходящим из туч, весь в молниях. Тучи, молния, гром...

— Космос... молния, тучи... — повторил Сигурд. — Эффектно. А синим я могу стать, если хотите.

И он стал вполне синим, расцветкой похожим на Танино шерстяное платье. Правда, в его синеве проглядывал фосфор, легкое и все время перебегающее мерцание. Оно рождалось в груди и бежало к голове, к плечам.

— Годится расцветка? — спросил он. — Если не устраивает, могу принять любую другую. Что хотите — оранжевый?.. зеленый? Весь спектр в вашем распоряжении. Заказывайте.

Таня произвела опыт с оранжевым цветом и напугалась. Пришлось пить холодную воду.

— Как вы это делаете? — спросила она. — Расскажите.

(«Я, наверно, ужасно растрепана», — подумала она.)

— Делаю?.. А знаете, я могу проникнуть во все, могу стать видимостью всего. Не могу стать вами, этого мне не дано. А если нужен цветок, зверь или еще кто-нибудь, то приказывайте, исполню.

— Станьте пионом, — попросила Таня.

— Пион, этот распутный, с нехорошими желаниями цветов? Пожалуйста!

И в кресле засветился розовый пион. Он был приклонен к ручке кресла и покачивался слегка. Таня протянула руку, но отдернула ее.

— И все же, с какой вы планеты? — интересовалась Таня. — И отчего не было сообщения о вашем прибытии?

— Вот, — сказал Сигурд и выпятил губу. — Свихнулись на космосе. Им проще предположить, что я с другой планеты, чем заинтересоваться, как стать таким. Или гипноз, или планета, два варианта. Шеф очень неглупый человек, но знали бы вы, какую чепуху он говорил при первом нашем знакомстве. Мы посмеялись... Но он удивительно быстро опомнился, а хватка у него, скажу вам, железная. То, что не для себя делает, придает ему дополнительную цепкость.

Сигурд встал и ходил по комнате беззвучной походкой. Ворчал:

— Давай им планеты!.. А что творится на Земле, еще толком не знают. Мир растений и мир животных — тоже планеты, малоизвестные. Это чужие планеты. Их мириады — руку протяни. Как так можно? Сначала нужно узнать свое, узнать Землю и лишь потом браться за остальное. Узнать... Вы спросите: «Как?» Ведь наше проникновение в эти миры убивает их. Положим, беру мир жука, ползающего по коре, или мир жука, обитающего в ней, мертвой и разрыхленной. Эти миры — соседи, но различные... Впрочем, я болтаю, а у меня нет времени. Работа! Сегодня я лечу в Хамаган.

— В Сибирь? — спросила Таня.

— В тропики.

— Вылетаете самолетом?

— Мой самолет — транспортиция направленными волнами. Это, сообщу вам, сомнительное удовольствие. Видели машину? На крыше гнутые зеркала? Блестят?

— Параболические?

— Это и есть мой аэропорт. Швырнут — словно электросваркой ошпарят. И прибываешь в самое неожиданное место. Вообразите, очутился я однажды верхом на тапире. Бедняга чуть не умер от разрыва сердца... Да, в Хамаган... А пока позвольте мне присесть рядом с вами. Из-за своей газообразной консистенции я безопасен для хорошеньких девушек. Абсолютно! Даже ваша уважаемая бабушка не придерется.

— При чем здесь бабушка?

Но Сигурд не стал отвечать на вопрос. Он спешил.

— Я уезжаю, я долго-долго вас не увижу. А когда вернусь, то узнаю, что вы замужем. Тогда я стану целым букетом — сразу. Вы любите сирень?

— Очень.

— Значит, стану букетом сирени, приготовьте вазу. Ах, муж рассердится.

— Мужа не будет, — сказала Таня.

Как-то неладно повела себя голова. Она ничего не понимала, она болела от усилия понять. Таня пошарила на столе и нашла тюбик. Она вытрясла таблетку на ладонь и проглотила ее. И начала считать: «Раз, два, три, четыре...» Реклама не врала, при счете «тридцать» в нее вошла бодрость. Таня села, подобрала ноги. Ей было любопытно и странно. Котенок вспрыгнул и устроился рядом. Он не боялся Сигурда. Наоборот, поворачиваясь к нему, котик заводил песенку.

— Вот так и получается, — повторил Сигурд. — В Хамаган.

— Ваше поведение говорит о вашем благородстве.

— Благородстве? Давайте не будем, — умоляюще сказал Сигурд. — Помолчим. Перед отъездом принято сидеть и молчать.

Таня затихла и только взглядывала. Со стороны виделись взметывания ее ресниц. Все так странно, так странно. «Бедный, он меня любит, но в его положении... Или это и есть высшая любовь?»

Тане было грустно и хорошо.

...Светало. Кричали воробьи. Сигурд был интересен. Какие глаза, но почти прозрачный. (Таня неожиданно для себя усмехнулась и замерла — была уверена, что Сигурд обидится.) Тут только она заметила его руку, гладившую котенка. Молчание становилось невыносимым. Таня потрогала котенка: от него шло электричество. Таня решила — это походит на пульсацию слабых токов. «Все пульсирует во вселенной, — думала ученая Таня. — Пульсируют туманности, пульсирует кровь в моих жилах... Сигурд. В нем тоже разнообразные вибрации. Он хороший, а не знает этого. Смешно... Мог бы и не сидеть истуканчиком. А ток идет от него, даже сердце сжимает».

Таня вообразила, чтобы Сигурд не только поцеловал ее, но и крепко обнял. Это будет настоящее прощание. Это будет научно. Никто еще не обнимался с Сигурдом. «Ну чего он застыл? — думала Таня. — Пусть посмеет только...»

Его рука придвигалась ближе и ближе. Они соприкоснулись пальцами и отдернули их.

— Пять утра, — сказала Таня сломанным голосом.

Она посмотрела в окно — по шоссе неслась, подпрыгивала точка первого ветробуса.

— Тебе пора...

— Может, сказать обо всем вашим?

— Иди, ступай в свой противный Хамаган.

— Нам нужно поговорить.

Но Таня брала себя в руки. Хотелось спать. Голову стягивало тугой невидимой шапочкой.

— Ладно, — сказала она. — В последний раз приходи, сегодня, в двадцать четыре часа... Жду. А сейчас буду переодеваться.

«Что я говорю? — ужасалась Таня. — Какой последний раз? Зачем последний?.. Глупости, мне так хорошо».

Она следила: Сигурд уходил от нее. Он стал притуманиваться, будто отпотевающее от дыхания стекло. Ве-

терок заколебал занавески, и его не стало. Таня вскрикнула и покрылась пупырышками, словно от холода.

С этого дня и пошла новая жизнь Тани.

Так, вчера она была одна, потом Сигурд построил мост разговора, и по нему пришла ее новая жизнь. Возможно, о ней знала бабушка, догадывалась мама.

Таня не хотела выяснять. Остерегалась, боялась притронуться, потому что все было слишком хорошо. Все дни шли хорошо. И даже взгляды бабушки не могли помешать ей.

Но были и люди, которых она побаивалась. В институте, например, был Вовка. Он мог усмехаться так, что его хотелось стукнуть тяжелым.

Был папа, который (как Сигурд и шеф) проживал в разных мирах. Но в противоположность Сигурду миры эти обычны и четко отделены друг от друга.

Он работал в мире ракетных двигателей (и молчал о них дома). Он ел смакуя, тихо и молча возился в своей тарелке разными вилочками — находился в мире жареного.

Вечерами отец обитал у друзей в мире какой-то древней и медлительной карточной игры. Когда он возвращался, выходил из одноместного «Птеродактиля» и прикрывал его крылья брезентом на случай дождливой ночи, то видел Таню.

Увидев, изумлялся и не верил себе. Затем долго разговаривал с ней, спрашивал, открывал для себя мир дочери.

После работы Таня шла гулять с Сигурдом. Он присаживался к ней на грудь бабочкой-махаоном. Тане было приятно такое его настроение, было весело смеяться удивлению прохожих.

Она шла в кафе, Таня ела, а Сигурд фамильярни-

чал: садился на нос, шекотал губы. Таня смущалась, думая, какой она представляется Сигурду необозримой великаншей. Она говорила:

— Не надо этого, Сигурд, не надо... Пей-ка лучше кофе.

Или он был воробьем. В таких случаях приводил одного из своих приятелей. Воробей ел с Таней из одной тарелки. Эта птица была необычайной силы и живости. Она могла стащить и унести даже половину мясного пирожка, даваемого к бульону. А однажды унесла снятую клипсу. Но Таня сразу догадалась, что ее взял себе не воробей, а Сигурд.

Потом они шли в лес (в дороге Сигурд становился брошкой-жуком на ее блузке). В лесу они были свободными. Сигурд ухаживал за Таней. Он становился всем, он был всюду. Даже ветер разговаривал с ней голосом Сигурда: все об одном, все об одном... Или, оставив Таню около муравейника, Сигурд забирался в него, он выводил всех муравьев и принуждал их склеиваться в зимний шар.

Еще они плавали в озере: Таня плыла, а около нее вертелся Сигурд в какой-нибудь щуке и хватал за пальцы.

Таня взвизгивала, брыкалась и плыла к берегу, заикаясь от смеха и разбрызгивая воду, а Сигурд уже выставлялся ей навстречу камышом, пускал свой пух на голову и уши. Таня бегала и хохотала. Проходящие пары косились на столь оживленное прохождение времени.

Таня ходила в дом Сигурда. Он долго звал. Она наконец согласилась.

Здесь был старинный пригород — его оставили для любителей эффектов старого жилья, для художников и поэтов.

Отсюда хорошо виделся город, проткнувший тучи.

Таня прошла в калитку — старенькую, болтавшуюся. Запели ржавые скобы, прошептали ветки древних вязов, прикасавшихся к верхней доске калитки.

На заборе сидела кошечка и глядела на Таню травяными глазами. Она увидела Таню и без звука, стеснительно, заговорила с ней, приоткрывая красное пятнышко рта.

— Кисик, кисик, — говорила ей Таня.

Кошка замяукала. Необычный ее голос был звонким, как у какой-то птицы. И Таня подумала, что именно эту кошку, наверное, гладит вечерами Сигурд.

И пошла по тропинке в глубь древнего мохнатого сада — к дому.

И тотчас от дома к Тане побежали, перескакивая друг через друга, большие собаки неопределенной породы.

Кусать Таню собаки не стали. Наоборот, подставили головы, чтобы Таня гладила их.

Это были добрые собаки...

И Сигурд уже шел к ней прямо по лужайке. Он шел так быстро, что Тане стало радостно. И она испуганно оглянулась, не смотрят ли на них из окна.

На Таню смотрело много глаз.

Смотрела кошка с забора травяного цвета глазами, смотрели большие собаки.

И другие глаза смотрели поверх оконных белых занавесок — внимательные человечесьи глаза. Прежде чем Таня вошла в дом, о ней все уже имели определенное мнение: и мать Сигурда, его сестры, и даже бабушка Сергея (видевшая очень плохо).

Сигурд взял Таню за руку и повел в дом. Они прошли одну за другой все ступени крыльца, прошли веранду, где лежали ранние яблоки.

Запах их был восхитителен.

Затем был узенький коридор с запахом жилья. Поры домовых бревен хранили запахи жизни всех поколений Сигурдов.

В доме Таня познакомилась с мамой Сигурда, самой милой чужой мамой на свете.

В доме пришедшие следом собаки подали Тане правые лапы, выпачканные в земле, и понюхали ее носами, зелеными от травы.

Затем мама велела сыну хлопотать с обедом и повела Таню смотреть малину.

Они ходили вдвоем в колючих ее рядах, и мать серьезно говорила с Таней (в то же время обирая и кладя в рот ягоды).

— Ешьте, ешьте малину... Я рада, очень рада, — говорила она. — Вы хорошая и милая девочка. А я так боялась за первое увлечение моего сына. (Таня молчала, глядя на сочную ягодную кисточку.)

...Он всегда, всегда в работе. Вы знаете, Танюша, он совершенно не спит. А я нахожусь в ужасном положении. Я стала бояться убить простейшее насекомое, скажем, муху или комара, потому что он изучал их. Если я ударяю комара, то мне кажется, я убиваю своего сына.

...Мы все тут нервные, все немного не в себе, даже собаки и кошки... Стать лягушкой науки! Я понимаю, ему нужно было сделать это. Но нельзя же все время жертвовать собой! Я хочу иметь сына и внуков. И я рада его любви к вам. Вы должны убедить его вернуться в нашу жизнь, вы одна можете это сделать. Я бессильна, отец не желает ни во что вмешиваться, товарищи его хотели бы бесконечного продолжения этого опыта.

...Таня! Я прошу вас. Он славный мальчик и делает вас счастливой. А когда вы выйдете замуж, мы оставим вам этот старый дом — если хотите. Сейчас модно жить в настоящем старом доме.

...Таня, наши животные напуганы. Кошка не ловит мышей, собаки не дерутся друг с другом.

И знаете, временами и эти деревья, и солнце, и цветы, и птицы — все лучшее мне кажется моим сыном.

Сигурдова мама поцеловала Таню.

Затем они обедали всей семьей (и собаки и кошка). Потом Сигурд увел Таню в холодную глубину дома, в комнату. Комната эта была очень большая. На беленых ее стенах повешены картины — все старинные, написанные на холсте, в тускло золоченых рамках. Это были древние картины о древнем городе, о его деревьях и птицах. И нельзя было подключить ток и сделать их движущимися или извлечь из них какую-нибудь поясняющую музыку.

Надо было глядеть и соображать самой.

— Вы видите, Таня, природное в нашей семье сидит крепко. Эти картины писал один мой далекий предок. Какая-то боковая ветвь, с сильной кровью сибирских пионеров... Да, вы не знаете, мой брат занимается росписью ночного неба над городом, а другой — в свободные часы — делает те маленькие картины, что оживают на строго рассчитанное время.

Но вернемся к предку. Я думаю, что некоторые его глубинные устремления получили выход только во мне — его воля, его нацеленность.

Предок жил давно и немного. Он оставил после себя только картины. По ним судите о его силе.

Жил он в те времена, когда люди много работали на полях и в шахтах. Они часто болели, им было трудно отдаваться искусству. И этот человек однажды заболел какой-то древней болезнью, и она дала ему время обостренного видения.

Он был скромный, хороший человек. И вот, больной и несчастный, он увидел на земле других несчастливцев и понял их. По старомодной ограниченности считали, что человек должен переживать горе только людей. Эта идея — наследие стадного образа жизни, пришедшее к нам из древности. А также ограниченность. А также смешное мнение, что Земля была звездными силами изготовлена только для человека.

Мой предок проникся болью всех гонимых челове-

ком животных, птиц и трав. Он первым стал писать картины о том, как должен жить человек.

...Писал картины... Ими показывал, что животное зависит от клубка мировых сил — от воздуха и воды, человека и космических лучей, от ветра и пищи, любви и ненависти, сострадания и дружбы — так и сам человек.

При жизни над ним посмеивались, а после смерти вдруг стали любить.

Его картины есть в музеях, здесь же всего десять маленьких этюдов.

Таня смотрела. Грустно — на картинах странные, дымные, чумазые города, голые ветки, жалкие птицы.

И Таня поняла смертельно больного художника, бродившего по городу со своими рабочими инструментами. Она поняла его сердцем.

Но унесла с собой и раздражение на этого художника. Она чего-то не простила, не могла простить художнику, а что — не знала и сама.

Этой ночью они зажгли в поле маленький костер, превращая старые травяные былки в огненную игру, в дым, в разговоры. Таня рассказывала Сигурду об отце и братиках, о бабушке и маме.

Дым уходил вверх, пророча устойчивую погоду, нависал лунный край с пятнами кратеров. Волосы Тани становились золотыми паутинками.

Сергей глядел на Таню и видел в ней то розоватое сияние доброй памяти, то черноватую рябь ее былых тревог. Тогда она казалась ему чужой, из другого — непонятного — мира. Она пришла, она могла и вернуться в него. Чем ее удержать? И когда Таня на короткое время замолкала, Сигурд исчезал. Таня пугалась. Но ближний куст вдруг начинал клониться и щелчками ронять на нее паутинные листья.

И слышался из него легкий смех Сигурда, растекал-

ся по земле. И Тане казалось — это смеются, качаясь, травы.

— Теперь твоя очередь. Говори о себе, говори, — требовала она. — Только о себе.

— Это началось так, — говорил Сигурд. Он сел и держал ногу на колене сцепленными пальцами рук. От напряжения рассказа он светился зеленым светом.

— Когда-то я просто изучал животных. Этолог — такая моя профессия. Но, стремясь к универсальному, я был и цитологом, и биохимиком. И вот, изучив, то есть убив, сотни зверей в лаборатории, я, как и все, понял: нужно что-то другое. Животное умерло, его жизнь умерла. А ведь самое тайное — это жизнь, оркестровка органов, незримая партитура мозга.

Если кто-нибудь скажет: я стопроцентно знаю, что такое жизнь, я предложу — сотвори ее.

Теперь же я занят только живым, и это мое счастье. Сегодня утром, согласно плану, я занялся кротом. Да, да, этим толстячком в бархатной шубке. У него масса специфических секретов.

Шефу я обещал выяснить механику ориентировки крота под землей.

Биохимикам — его обменные процессы. А еще цитологи, горняки, фармацевты... О, целая пачка заявок!

Итак, я работал.

Я шел полем. Навстречу мне неслись сигналы цветов. И всюду вулканчики кротиных нор, кольцеобразные, похожие на лунные кратеры (круг, шар, выпуклость, кольцеобразность — это стиль природы. Углы, прямоугольники — стиль человека).

Я стал у одного вулканчика — и тот ожил. Я почувствовал подрагивание почвы, услышал шорох и пофыркивание. Это значило, что крот подходит к выходу и сейчас выставит нос, опознавая погоду. Необходимо быть наготове. Мгновение — нос выставился со всеми облипшими его песчинками. Крот фыркнул и спрятался, но я уже вошел в него. Не знаю, как это видится со

стороны, я работаю всегда один. Мне так: находит облачко. Оно спит (но оказывается черным). Затем как бы застреваешь в узком темном проходе, нидохнуть, ни вскрикнуть. Это страшно. Затем я уже был кротом и полз в подземном ходу. Я протискивался и тихо урчал от удовольствия, чуя запах личинок. И все время во мне сидело человеческое смешное опасение застрять и задохнуться, потому что я видел всю узость пути — сверху — этих ходов, хотя был слеп, как крот. (Шеф говорит, я-де вхожу в объект частично.) И так, его глаза, рудименты глаз... Шеф просто ахнет, узнав об их функциях. И это знание очень пригодится изобретателям. (Он взглянул на Таню — она скучала.) А еще я изучал радарный механизм нетопыря Квинка (помните театр?), прослеживал работу инфракрасного зрения змей (и нанес вам первый визит).

— Как интересно, — сказала Таня, думая, отчего он не говорит о своей любви.

— Я считаю это своим счастьем, — сказал ей Сигурд. — Я вырос в семье, где любили животных. Всегда пять-шесть собак, а еще кошки, рыси, куницы, белки, ужи... Когда неудача, несчастье, это зверье очень понимает и утешает.

Понимание животных, лишенных дара внятной речи...

Понимание!.. Я ласкаю свою собаку. Но где, в чем родственны связи наших сердец? Каковы химические истоки этого сродства?.. Взаимодействие электрических полей?.. Нет, нет, я не допытываюсь, я не хочу этого знать. Не хочу!

— Почему? — испугалась Таня.

— А вдруг исчезнет мое особое свойство? Это бывает — спрашиваешь, ищешь — и от твоих усилий познать все исчезает.

...До тебя моя жизнь делилась на неравные части — «до» и «после». «До» — маленькое, всего двадцать восемь лет. «После» — огромное и спящее, и длится оно

621 день. Это сделала не только машина, но и моя воля — я хотел знать. Хотел проверить и понять собачий талант чутья, мощь сборного мозга муравьев, красоту цветка. Стоя против растения с любым названием, созерцая это чудо природного строительства, я хотел ощутить внешнюю неподвижность и внутреннюю быстроту процесса жизни.

Только проникновение в растение или зверя дает полное знание. Это нужно для моей науки, для дружбы между нашими разобщенными мирами. Войдя в промежуток атомов (ведь они плавают свободно, будто планеты), я живу жизнью клеток, жизнью ферментов — всей чужой жизнью.

Я знаю, со стороны все это выглядит безумной чепухой. Когда я говорил об этом шефу, он назвал меня сначала дураком, затем сумасшедшим. Я и был сумасшедшим.

Я верил — мы шли неверной дорогой. Меня сводило с ума сознание, что мы скованы телом. Я перестал ценить человека. Мне он виделся рабом своего тела и изобретенных им механизмов.

А потом пришло это. Как оно пришло? Не знаю.

Знаю! Было желание, волевой взрыв, был новый, особых свойств механизм — его изобрели для иных целей, но он помог мне. Но как?.. В последний наш разговор физики говорили о перераспределении материи в пространстве, что от меня-де остался только алгоритм, формула.

Много было говорено... Итак, крот... Одна моя прогулка в десять метров усилила нашу фармакопею знанием особенных свойств презируемых мелких жуков и червей.

Глубокой ночью шеф проснулся. Ему было душно и тревожно. Давило сердце. Он встал, подошел к окну и высунулся. Жадно, ртом он хватал и глотал воздух.

Шла ночь. С явственным писком проносились летучие мыши, поднимались на высоту двухсотого этажа.

Что и говорить, воздух здесь хорош.

Вот и удушье исчезло. Но оставалась тревога, переходящая в страх. Шеф стал разбираться в этом неожиданном страхе. Он перебирал одну причину за другой.

Не переел на ночь, хотя жена и напекла к ужину сладких булочек с корицей. Не был лишен того короткого дневного сна, что помогал ему спокойно спать ночью. С детьми все хорошо — писал сын, а дочь с мужем жили рядом. У них до сих пор светилося окно. Свет падал на ночные клубы мошек, а их голоса тихо доносились до него.

Жена?.. Молодцом.

Артрит?.. Терпим.

Старость?.. Здесь все решено, все перемолото.

Сигурд?.. Вот оно! Все последние бессонницы, все сердечные спазмы, все тревоги рождал именно Сигурд. Где он сейчас? Шеф напрягся, вызывая его. Для этого он вообразил дырочку в своей лобной кости, а из нее струей брызжущую мысль. Он раздул грудь, свел брови.

«Сигурд, Сигурд», — звал он. Ответом было молчание.

«Сигурд, Сигурд...» Молчит.

Сейчас он или вертится в воздухе, или сидит с этой гадкой эгоисткой Таней.

Нет, не Сигурд виноват — та девчонка!.. Нет! Не девчонка — молодость их.

В конце концов, могли бы и подождать с любовями, недолго ему жить осталось.

Никодиму Никодимычу стало так обидно и так горько. «Возьму и умру сейчас», — решил он и всхлипнул.

Жена, услышав, встала и принесла таблетку. Она поставила горчичники на его грудь, сделала ему горячую ванну. И так, хлопоча, помогла встретить рассвет.

На травах лежала росная седина — матовая и тусклая. По ней бродили домашние звери. Ходили коровы с выпученными боками, гуляли лошади с длинными белыми гривами.

Лошади были не рабочие, а для украшения луга.

Таня и Сигурд шли промеж этих лошадей, и те смотрели на них, выворачивая глаза, всхрапывая, мотая головой, стуча боталами.

Тане было хорошо. Она смотрела на переступающие ноги Сигурда (по ее требованию он перерабатывал свою скользкую походку в обычную) и командовала:

— Правой, левой!

Сигурд шел, не приминая трав: лебеду, ромашки, пырей, одуванчики. Одуванчиков было особенно много. Поэтому молоко здешних коров считалось лечебным, а сияние луга казалось золотым.

— Сигурд, — сказала Таня, оборачиваясь к нему и видя сквозь него проступающий луг. Обрадовалась — Сигурд и внутри солнечный и ясный, весь золотой. Чистое луговое золото было в нем. И ей с ним и надежно и тепло. — Сигурд, ты сегодня особенный, — сказала Таня и повернула к нему сияющее лицо. По нему ходили золотые отблески. Он глядел на нее.

— Что ты, девочка?

— Я могла бы все для тебя сделать. Все, все.

— Спасибо, Таня, я это знаю.

— Глупый, поцелуй меня сейчас же, сейчас, скорее...
Крепче.

Опять щекочущее, электрическое ощущение, от которого хотелось и засмеяться, и закричать. Словно бы она нюхала большой и лохматый букет, весь в росе, в гудящих пчелах. Нюхала, погружала в него лицо по самые уши.

— Сигурд, — говорила Таня, — Сигурд...

— Что, Таня?.. Что?

— Сигу-у-урд...

Коровы смотрели на них, жуя траву. Ходили две

трясогузки, желтая и серая, качали хвостиками. Далеко, на зеленом луговом фоне, полуголый человек с сачком гнался за желтой бабочкой. Бежал — словно катился.

Это был охотник — сборщик личной коллекции, один из миллионов нарушителей запретов.

Он махал сачком, но промахивался.

— Лимонница! — закричала Таня. — Хоть бы не поймал, ну споткнулся, что ли. Споткнись! Споткнись! Разбей нос!

Человек не споткнулся. Он догнал бабочку. Махнул сачком — исчезло ее веселое пятнышко.

— Он злой, злой! — быстро говорила Таня. — Он насадит ее на булавку, его надо проучить. Проучи его!

Бабушка пришла на веранду сильно запыхавшейся. Платье ее гремело. Платок упал на плечи.

Бабушка пришла точно к завтраку, но не стала пить крепко заваренный чай, не съела обычного яйца всмятку, хотя его и снесла для нее курица Пеструха, немного похожая на бабушку.

— Кормите детей, и пусть убегут, — велела бабушка и стала громко, порывисто дышать.

Папа скосился на бабушкин нос и вспомнил кучу дел. Он даже перечислил их вслух.

— Сядьте, Борис! — приказала ему бабушка и загремела своим платьем.

По его металлу ползла рыжая муха с синими глазами. В углу сидел и смотрел на все дальнозоркий паук.

— Итак, Марина, что ты скажешь по этому случаю, а? — Бабушка взглянула на Танину маму.

— Он славный мальчик, он мне нравится.

— Я только что с луга, купала ноги в росе. Моему флебиту это помогает лучше гормонов. Я их увидела там и точно знаю — он светится насквозь. Он кисейка!.. Слушайте.

Бабушка вынула из кармана платья свою записную книжку и стала читать вслух, отставя ее подальше, на расстоянии четкого зрения.

«19 июля. Подозрительное волнение в Т. По лицу проходят красные токи. Ясно, она влюблена — раз узнать.

21 июля. Плохо ест, в глазах мечта, на молодых людей не смотрит. Подозрительно.

24 июля. Голос в комнатке. Посмотрев в отверстие, обнаружила прозрачную личность, влюбленную в Т. Слава богу, она безопасна. Следить».

Папа покашлял и спросил:

— Прозрачную? Это фигурально?

Ему не ответили, а мама всплеснула руками:

— Боже мой, как это чудесно! Он любит ее только душой. Духовная любовь в этом плотском мире.

— Не говори глупости, Марина, — отрезала бабушка.

— А скажите, эта бесплотная личность... он... бросил нашу девочку? — осведомился папа и стал нервно потирать лысину.

— Да что ты! Он ее любит, в этом и зло.

Папа чихнул и вытер нос салфеткой. Забормотал:

— Ничего я теперь не понимаю. Отстал. Духовно, бесплотно... это модно? Простите, мамы, я пойду и выпью валерьянки.

— Ступайте, Борис, и прилягте на половину часа. — Бабушка выдвинула челюсть. — Видите ли, милая моя дочь, я хочу... я поклялась умереть прабабушкой. Да, — говорила она сквозь зубы, — да, ты знаешь, у меня идеальный характер, я все сделаю как надо. Я настаиваю, чтобы эти бесплотники знали свое место и не лезли к девушкам. Я хочу иметь правнуков! Слышите вы, глупая, восторженная и нелепая женщина?..

Бабушка ударила кулаком. Чашки подпрыгнули. Зеленая муха взлетела, попала в паутину и зазвенела.

Таня задержала дыхание. Она все увидела — был резкий, безжалостный свет.

На что походило? Да, на их костер в поле.

Она вспомнила откатившийся уголек: он пускал тонкую и долгую струйку дыма. Она тянулась вверх, колеблясь, и где-то там, высоко, рассыпалась на молекулы.

Так случилось и здесь — на цветке тлел уголек, король-бабочка. Махаон.

И к нему вдруг — струйкой дыма — потянулось тело Сигурда и мягко, беззвучно вошло, исчезло... Таня задержала вскрик, прижав рукой губы.

Бабочка же снялась и полетела.

Тень ее бежала по траве. Таня заметила, что она круглая, и догадалась, что это тень самого солнца.

...Быстрее, быстрее!.. Луг поворачивается вниз. От него идут теплые земляные потоки, подкидывают, толкают (луг косо уходит вниз).

И зелено, зелено кругом, и сигналият цветы. Они зовут. Бабочку звали присесть поздние ромашки, звало «татарское мыло», звали все, отовсюду...

Сигурд поднялся выше, выровнял плоскость крыльев и скользнул над сидящим в тени бабочколовом. Тот вскочил — огромнейшая фигура с жадными глазами. Они — две круглые блестящие стекляшки.

Он рыкнул — прокатился по лугу недолгий гром.

Он вскинул сачок — тот со свистом ушел высоко в небо.

Страх поселился в Сигурде, веселость и страх. Он стал работать крыльями, поднялся высоко, высоко. И спланировал вниз, и уже нетерпеливо, на высоте кустов, полетел к белому платьицу Тани.

А позади громко топало и пытело. Сигурд летел тихо, чтобы оно не отстало, не потеряло пыл охоты. И Таня сжалась, когда бабочку смял удар сачка. Он прихлопнул и вдавил ее в промежуток мелких березовых кустиков.

— Есть! — вскрикнул бородач и нагнулся, запустил руку в траву.

— Что вам, собственно, надо, молодой человек?

Из травы поднялся Сигурд в виде небольшого и морщинистого старичка в костюме-тройке. Бородач стал пятиться.

— Простите, — сказал бородач и подтянул штаны. — Простите, что-то с глазами.

— Полежать не дадут, поспать не дадут, — негодовал Сигурд.

— Солнце, знаете, ничего и не видишь.

Бородач отходил, оглядываясь. Погрозил кулаком, повернулся и побежал.

— Почему ты не смеешься? — спросил Сигурд.

Таня молчала. Она щипала травинки и кусала те их части, что были воткнуты в основу стебельков. Они были как салат без сметаны — трава с простым травяным вкусом и запахом. И только.

«Он воздух, он мираж, я его сама придумала».

— Таня, вы расстроены чем-то?..

— Нет, не то... Скажи, если меня оскорбят или... Ты заступишься за меня? Ударить нахала?

— Чем я его ударю? — спросил Сигурд. — Я дым, клубок молекул, сочетание еще не разведанных свойств материи. Я не могу ни обнять, ни защитить. Я ничто в обычном понимании. Сила моя в этом мире овеществляется в других и другими. Товарищами, машиной, шефом. Ты расстроена?

— Глупости, Сигурд, я прошу прощения.

— Это я должен просить прощения.

Корова подошла и смотрела на них, вздыхая. Нос ее был черный и мокрый. Она лизала его шершавым языком.

— Хочешь, я узнаю, что сейчас чувствует эта корова? — спросил Сигурд.

— Я знаю. Она хочет, чтобы ее подоили, — сказала Таня. — Мне пора домой. Не провожай, я сама...

На веранде гудела из угла в угол оса с золотым животиком. Но, может быть, это просто осовидная хитрая муха.

Хитрая!.. Бабушка пригрозила пальцем и велела прогнать муху.

— Почему я знаю, что это не твой чудак, — сказала бабушка Тане. — Прилетел и слушает. Пронюра!

Таня обиделась.

— Что вы, бабушка, он не такой.

— За себя ручайся, деточка, только за себя, и то здраво подумав. Вот и Пеструха сегодня на меня как-то странно посматривает и яйцо мне не снесла. А снесет, то как его будешь есть? Почему я знаю, может быть, Пеструха — это тоже он.

Таня взяла полотенце и выгнала осу. Пришлось вытаскивать из угла домашнего паука и садить его за дверь.

Котенок сидел на полу и смотрел на них большими серыми глазами.

— Убери и его, — требовала бабушка. — Очень у него глаз сообразительный. Наверное, твой...

Таня взяла мягкого котенка под локотки (тот запел) и унесла. Посадила в траву, и серый занялся вылавливанием травяных бабочек.

Таня вернулась и услышала бабушкины слова. Она, вздыхая, говорила маме:

— А попробуй откажи? Как подумаю о нашей кухне, где и окно-то не закрывается и форточку твой благоверный не починил толком, сердце обмирает. Так и обливается кровью, так и обливается. Я сама в детстве, разозлясь, сажала мух в бабушкины пироги. Садись, Татьяна! — Бабушка указала на стул. — Садись, слушай и мотай на ус. Ты уже не маленькая, в восемнадцатом веке в твоём возрасте детей имели. Мать тебе ничего доброго не скажет, уж слишком романтична. И все оттого, что я, будучи в интересном положении, читала Карамзина — «История Государства Россий-

ского». И всего-то один том! Мы же с тобой, надеюсь, люди трезвые и здравомыслящие.

— Мне кажется, это мое личное дело.

Бабушка выпятила губы.

— Вот так же говорила Марианна, выходя замуж. А ее личное дело (то есть именно ты) стало общим, то есть нашим. Знай, в его семье тоже голову ломают.

— А что я такое особенное делаю?

— Не напускай тумана, моя милая, все это крайне прозрачно. Имей в виду, я поклялась дождаться своих правнуков и не потерплю, чтобы они были сделаны из желе или воздуха. Я хочу, чтобы они плакали, ели, пачкали пеленки и делали все, что положено делать младенцам.

— Бабушка!

— Я уже двадцать лет бабушка! Да-с!.. А что, потвоему, получится? Я, моя милая, желаю для тебя мужа, которого я могла бы потрогать и убедиться, что ты и точно замужем.

— Вы подсмотрели, совестно вам!

— Именно, моя милая, подсмотрела. Меня и успокоило, что он просто дым, одна видимость!.. Прозрачник!.. Но как ты думаешь жить с бесплотным человеком? Он вечно будет сидеть в своих цветочках. Он же не от мира сего. Заруби себе на носу, я не хочу газообразных внучат. Нет! Нет! Нет! Ты знаешь, у меня идеальный характер, как я сказала, так и будет.

— Я не позволю мешаться!

Бабушка оправила платье и начала смотреть, плотно ли закрываются окна веранды.

...Сигурд вышел из котенка. Он — по новой привычке — пошел к себе домой пешком.

— Вот это старуха! — бормотал он и качал головой. — Ай-ай!.. Но и я хорош, подслушиваю! — Он бормотал и взмахивал руками, удивляясь себе.

— Какое право она имеет так со мной говорить? — бормотала Таня, быстро ходя вокруг клумбы. Но ба-

бушка дала ей и новые мысли. Привязчивые. Да, вот и в клумбе распускаются петунии, говорят своими запахами с Таней. Говорят, как хороша эта жизнь, как сладко прижать к себе ребенка. Она не думала об этом. Или думала?.. Надо идти к шефу, надо выяснить все, все, все...

Шеф в кабинете пил свой второй утренний чай (первый он испивал дома). На столе лежали бутерброды. Он поедал их. Уши его шевелились.

— Здравствуйте, Никодим Никодимыч, — сказала она. — Мне бы с вами поговорить. Лично.

— Прошу. — Шеф носом указал ей на кресло и завернул бутерброды в бумагу. После чего икнул и отпил глоток чая. — Вот, — сказал он недовольно, — жидкий чай противен, а от густого сердцебиение.

— Я хочу знать, — начала Таня, — о Сигурде. Он сможет стать обычным или таким и останется? Ну, когда все для вас сделает?

— Сможет, — быстро и как-то ненамеренно ответил шеф. И сразу спохватился, взял в кулак нижнюю часть своего лица. Так и держал энное время, глядя на Таню из-под бровей.

Таня смотрела на его большую руку — волоски на ней седые, веснушки. Но она поразила ее сильной, мускулистой плотью.

Крепкая была рука, вот в чем дело, сделать ли что или наказать, ударить. Отличная мужская рука.

— Как я понимаю, Таня, — осторожно спросил шеф, — вы собираетесь замуж за Сигурда?

— Да, мы это решили.

— Гм, уже и решили. — Шеф поднялся и стал ходить. — Это хорошо и просто необходимо в смысле личном и, понятно, общественном: ячейка, семья и прочее. Но вы думали о том, как человек, переживший самые яркие приключения в этом мире, согласится с семейной жизнью и ее, так сказать, тихими радостями?

— Он меня любит.

— Предположим. Но что такое любовь для него?.. Он свел вместе свое стремление к доброте, к познанию, к творчеству. Он творит из себя одного за другим. Сегодня, например, он обещал работать с сиамской красномордой лягушкой, — Таня моргнула, — и в два часа продиктует нам. Кстати, это пойдет в подборку его новых статей. Ясно? Это исследование на уровне нуклеиновых структур, проникновение в избранные молекулы живого. Это ослепительно!.. Вы ощущаете простор?.. А что вы дадите ему взамен? Стандартную форму женской любви? Дорогая моя, хотите путевку куда хотите? На сколько хотите?.. На юг? В любое место? Мы включим ваши расходы в рубрику научных командировок. А?.. Ей-ей, оставьте Сигурда, а сами влюбитесь в кого-нибудь менее нужного. Скажем, в Короту. Прошу — оставьте Сигурда его необычной судьбе. Вы разные люди (верьте мне, старику!), и ваша дорога в жизни — не его дорога.

Таня встала. Шеф взял ее обе руки в свои.

— Идите, идите, милая девушка, срывайте цветы радости в другом месте. Сигурд рожден для полного сосредоточения в своем поразительном даре, он вам не простит. И вы его не простите. Он бездарен в обычной жизни, я знаю. А сейчас ступайте домой, я отпускаю. Можете не приходиться даже завтра, а вот послезавтра жду. Да!

Таня шла по улице мимо молодых людей, которые могли любить, жениться, могли и заступиться за нее. Они не были дымным облачком, готовым растаять в каждый момент.

Они шли веселые, загорелые.

Можно любить их сильные руки и плечи. Они и обнимут крепко. А если станут многострадальными неудачниками, их страдания, их муки будут вполне понят-

ны ей. У нее тоже руки и пальцы, и она не может проникать в нуклеиновые структуры.

Вот пусть Сигурд станет как все, пусть живет в ее измерении.

Она сделает его отцом. У них будут маленькие Сигурды, будет семья — как у всех — с сегодняшнего дня и до последнего дня в жизни. Так она ему и скажет. Вот!

Он поднялся навстречу ей со скамьи. Они пошли вместе. Сигурд говорил:

— Таня, милая, я послал к чертям все планы и графики, я провел сегодня утром чудеснейшие часы. Вообрази, я стал мхом. Да, да, обычным мхом на стволе упавшей ели. Я рос медленно и постепенно — микрон в час. Было и другое движение — я выпрямлял стволы, тянулся ими к солнцу (и боялся его).

Существо мое было двойное. Кто-то другой все время был рядом, теснил меня в зелени мха, в просвечивающих стеблях.

Тот, второй, был самоуверенный, живучий гриб. Его мицелии, пронизывающие мое тело, все время шевелились. Я был им.

Был и той зеленой водорослью, что образовывала и окрашивала самое растение и давала ему кислород... Тебе неинтересно?

— Что ты, это замечательно интересно, — сказала Таня и удивилась его догадливости. Удивилась и немного испугалась.

Значит, он видит ее мысли. Но тогда почему, почему не говорит самое нужное?

Или он не хочет жить как все? Как живут мама и папа, как жили бабушка с дедушкой? Она не будет посягать на его работу, она просто прикажет сменить ее. Он собрал факты, их хватит на всю его научную жизнь. Почему он должен быть инструментом шефа и Короты? Зачем спасать глупых кошек? Он напишет книгу, у него будет самое славное в мире имя. И люди станут го-

ворить: «Смотрите, вот идет жена этого замечательного Сигурда». Говорить: «Она поняла и полюбила его». Она должна быть тверда с ним. И тогда им будет хорошо — Сигурду, ей. Они проживут счастливую и долгую жизнь. Чудесную жизнь!

— Мне надо серьезно с тобой поговорить, — сказала Таня. — Обещай мне сделать все, что я попрошу тебя. Обещаешь?

— Таня, милая, конечно...

— Так вот что мы сделаем, — сказала Таня и глотнула воздух. — Вот так — ты станешь человеком как все, и мы с тобой поженимся. Хочешь?

Дыхание ее перехватило. Лицо горело. А кончики ушей онемели, будто ее схватили за них и держали.

— Так мне только это и нужно! — воскликнул Сигурд, и праздничное пламя стало наливать его. Розовые блики упали на кусты. Пролетные бабочки-капустницы запорхали над ним.

Сигурд торопился, говорил:

— Я хочу стать как все — и любить и страдать.

— Зачем же страдать? — удивилась Таня. — Это совсем лишнее. Я не хочу страдать.

Он благодарно коснулся ее плеч. Но ее куртка была с пропиткой и не проводила токи. Таня ничего не почувствовала, и даже маленькая лукавинка пришла к ней. Она улыбнулась глазами.

— Погасни, обращают внимание, — велела она. — Шеф мне говорил что-то о машине, чтобы стать как все, — солгала Таня. И прищурилась на Сигурда: скажет он ей правду или нет?

— Шеф лгал, мне не нужна машина. Я знаю, как могу уйти из этого мира. Мне нужно только собрать мои рассыпанные атомы. Пойдем-ка на луг.

«Он открытый... открытый... — думала Таня. — Но откуда он все это знает?»

— Как ты можешь знать? Ты пробовал? Тебе говорили?

— Я чувствую. И еще...

— Что? — быстро спросила Таня и глянула на него блеснувшим глазом.

— Я должен убить кого-нибудь...

— Что, что? Убить?.. Но зачем?.. Сумасшедший... Ну, ну, говори. — Ей было страшно и интересно.

— Убить кого-нибудь. Ну, птицу, или бабочку, или зверя. Войти и убить. Тогда двери, в которые они меня впускают, закроются. Да, здесь двери. Животные рвутся к нам, но не могут пройти, а мне они приоткрыли сияющий проем. Они мудрее, чем мы думаем. Я сейчас что сделаю? Видишь, ласточка? Я полетаю немного, а потом возьму и... ударю ее оземь.

Нет, ласточку жаль, она милая, красивая. Всех, всех их жаль. Вот что, я не был стрижом... Странно, ни разу... Нет, ласточка ближе и знакомей... И все будет кончено. Только быстрее, иначе не смогу. Ты подожди, я сейчас, сейчас приду.

Зеленел луг, поднимался вверх, ткался солнцем из трав и поздних одуванчиков.

Сигурд вошел в это сияние, растворился, скользнул к дальнему краю луга.

...Мне и тяжело и радостно — в одно время. Отчего здесь двойное ощущение, горе и радость?.. Радость? Ликование сейчас вредно, оно помешает. Итак, надо сказать себе: все кончено, не стану подниматься к облакам, жить в птицах, распускаться цветком, рычать добрым зверем.

...Ходят струи цветочных запахов. Тяжелые и сырые остаются внизу, вместе с запахами густых трав. Легкие же поднимаются вверх. Свободны легкие цветочные запахи! Солнце греет их, придает подвижность. Вон оно, сквозь дымку запахов проступает его голубой диск.

...Как все было в самый первый раз, в первое превращение?

Так было — после великолепной, ослепительной боли пришло удивительное ощущение. В нем оказалось множество переходных состояний. Тысячи! Они входят одно в другое, будто древние китайские безделушки, выточенные из слоновой кости... Нет, они были текучи. Тогда-то он и стал текуч и всепроникающ.

О солнце!.. Оно бушует, колеблется, гремит и вскидывается вверх. По нему бегут фиолетовые тени.

Лучи его сильные. Они давят, толкают, гонят. Стриж. Ты великолепен для воздушной акробатики.

А вот сокол-чеглок (и металлический звон его полета). Я не был в тебе, я не знаю тебя, а ты меня. Лети, сокол, гонись за добычей. А вот голубь, сильный дикий голубь.

Я не был тобой, я так и не познал до конца мук погибающей жертвы. Пролетает цапля, важная и огромная, как самолет. Я не был тобой, не был!

Я ничего, ничего не успел.

...Лети, лети, моя ласточка, лети быстрее. Вон дома, желтые хлеба, дороги. Ласточка, шевелит воздух твои перышки. Теперь вверх, еще, еще, еще выше — прямо в облака.

Они холодные и упругие... Ласточка, ласточка, лети стремительнее, меня скоро не будет. Не станет человека, проникшего в ваши тайны. Ласточка, лети, спеши вниз — там я стану прежним.

Ласточка, я убью тебя, потом в тысячах опытов я убью тысячу загадок вашей жизни.

Ласточка, ласточка!.. Я ударюсь тобой о землю, ударюсь и встану с земли человеком, как все. Я люблю ее. Прости, прости меня, ласточка...

Черный вихорок метался в воздухе. Он то уходил вверх, в тяжелые, мокрые тучи, к пронзившему их острою города, то кидался к ногам, и Таня вскрикивала. Ей было страшно.

Вот Сигурд пронесся между высоковольтными проводами, вот кинулся к ней, скользнул над плечом, обвеял

крылышками. «Как он может любить меня? Что я дам взамен? А если это мечта, если ошибка? Или он, став простым и обычным, не удержит моей любви?»

Сигурд взлетел и вдруг понесся с щебетом — ниже, ниже, ниже. В землю, косо, направлял он птичье тельце. Сейчас ударится! Сейчас!

— А-а-а-а! — закричала Таня.

Но Сигурд скользнул мимо и вдруг схватил большую муху, все присаживавшуюся на Танино платье. Резкий, металлический щебет оглушил Танию, полыхнул железной синевой, и Сигурд унесся в облака... Исчез...

Мошки жгли ноги и сгущались облачком вокруг глаз. Таня вытерла платком свои щеки, потом и глаза — сухие, обожженные. Горело ее лицо, горели верхние ободочки ушей, плавилось что-то в груди. «Идти, идти отсюда, идти домой, скорее». Пришла. Остановилась у калитки. Стояла долго, не решаясь войти и не веря себе.

Глаза ее все искали ласточку, сердце щемило и жгло.

Таня слышала — за десять домов отсюда Владимир играл на гитаре, терзал инструмент. Пролетали выпущенные им ноты — тяжелые и черные, как грачи.

Таня видела — повяли, обвисли выюнки и цветные фасоли, затягивавшие все лето калитку и веранду. В тучах, шедших одна за другой из-за крыши их дома, сидела хмурая непогода осени. И по-августовски прохладно. Все, все холодное — травы, стареющие цветы, доски калитки.

Близится осень. Деревья никли ветвями, листья уже падали вниз по одному, долго кружась.

Таня видела — бабушка в пуховой шали, повязанной крест-накрест, пила чай на веранде, сидя рядом с попыхивающим самоваром.

— Осень... — шептала Таня. — Наступает осень, за ней придет первый снег, а там и зима. И... снова придет весна, и будет лето другое и другой сон.

Я тоже стану другая, и он вернется ко мне другим.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

В складке времени	6
Мефисто	23
Голоса в ночи	39
Счастье	47
Друг	62
Нечто	75
На далекой планете	84

ПОВЕСТИ

Сибирит	102
Последняя Великая Охота	135
Прозрачник	182

Якубовский А. П.
Я49 Купол Галактики. Рассказы и повести. Художник Роберт Авотин. М., «Молодая гвардия», 1976.
240 с. с. ил. (Б-ка советской фантастики.)

Герои рассказов и повестей сборника живут и работают на Земле, в космосе, на других планетах, но даже в самых сложных обстоятельствах они остаются верными своему долгу, друзьям, общему делу во имя будущего.

P2

Я $\frac{70302-255}{078(02)-76} 249-76$

Аскольд Павлович Якубовский

КУПОЛ ГАЛАКТИКИ

Редактор **Д. Зиберов**

Художник **Р. Авотин**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Ю. Шабыкина**

Корректоры **А. Долидзе, З. Харитоновна**

Сдано в набор 23/II 1976 г. Подписано к печати 7/IX 1976 г.
A05150 Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 1 Печ. л. 7,5 (усл. 10,5).
Уч.-изд л. 10,7. Тираж 100 000 экз Цена 37 коп. Т. П. 1976 г.
№ 249 Заказ 184.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии. 103030, Москва, К-30, Суцеская, 21.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

